



Квартира № 2 и окрестности

(МОСКОВСКОЕ АССОРТИ)

В начале лета 1918 года одна московская семья — мой дедушка, присяжный поверенный Семен Борисович Айзенман, моя бабушка, художница Ольга Александровна Бари, и их четырехлетняя дочь Татьяна — поселилась в Мансуровском переулке, в темноватой сырой квартире на первом этаже. Прежнее жилье пришлось срочно покинуть и несмотря на то, что ожидалось рождение ребенка (моего отца), согласиться на первый попавшийся вариант. Предполагалось не задерживаться в плоховатой квартире и, как только представится возможность, подыскать жилье получше. Но случилось так, что семья прожила в доме № 5 долгие десятилетия. По этой причине и сохранился в неприкосновенности семейный архив, включающий в себя множество документов: сотни писем, бабушкины дневники, кучу документального праха: записок, случайных текстов, справок и удостоверений разнообразного генезиса. Никому из членов нашей семьи, удрученных бытом, но одновременно переполненных творческими замыслами и озабоченных их воплощением, не приходило в голову даже в самые суровые времена просмотреть эти залежи на предмет уничтожения ненужных или опасных бумажек. И в результате бумажные пласты пролежали в ящиках, шкафах, коробках, папках и чемоданах едва ли не до сегодняшнего дня. Задумавшись о том, для какой надобности сохранились эти отнюдь не немые свидетели прошедших эпох, я решила проиллюстрировать ими некоторые семейные апокрифы, а заодно записать кое-какие истории и рассказать о родных и друзьях. И неожиданно получилась книга, два отрывка из которой публикуются на этих страницах.



Мансуровский переулок. Москва. 2007.
Дом №5 (по правой стороне в глубине) сегодня неузнаваем

СО СТОРОНЫ ОТЦА, ИЛИ ВЗГЛЯД СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

Смутный детский эпизод — вечер накануне давнего, когда-то Нового года — начало череды немногих собственных и множества чужих воспоминаний, дверца в изобилующий тупиками и навечно замураванными нишами лабиринт. Елка наряжена не в нашей крошечной комнатке, а в просторной комнате бабушки, дедушки и тетушки моей Тани. Пахнет стеарином и хвоей, поблескивает в углу белая кафельная печь, высокая, до самого потолка. Но и в помине нет благостного предновогоднего настроения — это чувствую даже я в свои неполные пять лет. Мы с мамой возле елки, в области света, а бабушка, дедушка и Таня растаяли в сгустившемся комнатном сумраке. Они молчат, и об их присутствии можно догадаться лишь по скоплениям крошечных свечечек на крошечных елочках, шестикратно отраженных в тонких стеклышках двух пенсне — бабушкиного и дедушкиного, и в выпуклых, с большими диоптриями, круглых стеклах тетушкиных очков. Комнатное пространство напряжено, коряво и состоит из сплошных ухабов. Папы дома нет. Вдруг звонок. Мама устремляется ему навстречу и возвращается со странным человечком. Пришелец маленького роста, в черном тулупе, огромных валенках, в нахлобученной на глаза шапке-ушанке и косо напыленных на нос очках. Клочковатая борода похожа на кусок слежавшегося старого ватина, обитающего на сундуке за шкафом. За плечами дерюжный мешок. Мешок тощий, и я догадываюсь, что старичок обошел много домов, прежде чем добрался до нас. Дед Мороз, а это несомненно он, опускает мешок на пол, долго с ним возится, с трудом развязывает, суетливо разгружает. Хорошенько рассмотреть гостя не удастся не только из-за темноты, но и потому, что он старательно от меня отворачивается. Что-то небольшое вручает бабушке, что-то дедушке, что-то Тане и маме. Мне достается несколько подарков. Подаркам я рада, но огорчена тем, что папы нет дома, что он пропустил приход Деда Мороза. Глупо получилось, что именно сейчас папа ушел к Милидееву, и я надеюсь, что вот-вот он вернется и еще застанет гостя.

Милидеев — художник, он работает с папой в портретно-копийном цехе. А живет по соседству, на Кропоткинской, в глубинах закоулочного двора напротив нашего переулка. У Милидеева собственная машина, невероятная по тем временам роскошь. Еще у Милидеева есть одна-единственная рубашка с протертым воротником и рваный плащ, в котором он ездит на машине в любую погоду. И в жестокие морозы тоже. Машина заменяет Милидееву все, даже теплую одежду. Какая нелепость, что именно сейчас, когда уже зажжены свечи, перед самым приходом Деда Мороза, папа зачем-то к нему отправился. Будто нельзя было подождать немного или сходить пораньше. То, что Дед Мороз не нарядный волшебник, а неказистый мужичок, меня расстраивает меньше, чем папино отсутствие. Ничего не поделаешь, бывают и такие Деда Морозы — маленькие, всклокоченные. Уж какой достался! Но откуда мама знала о его приходе? А она знала, потому что приготовила подарок, и довольно странный — темно-красный галстук в светлую крапинку! Зачем нашему простецкому Деду Морозу галстук? При огромных его валенках, тулупе, свалывшейся бороде? Однако своему подарку Дед Мороз радуется, веселеет и уходит довольный. А буквально через минуту возвращается от Милидеева папа! Я бросаюсь навстречу, рассказываю, что тут произошло в его отсутствие, сообщаю о подаренном галстук, огорчаюсь, отчего папа реагирует на мой рассказ так вяло, не вскрикивает от изумления. Тем временем материализовавшийся за своим бюро дедушка заводит музыкальную шкатулку, я внимательно слежу за вращением латунного игольчатого барабанчика в деревянном нутре замечательной музыкальной шкатулки, впитываю семейную мелодию. Шкатулку эту дедушка подарил бабушке в первый их общий семейный Новый год — 1914-й. Заводить шкатулку можно было только в новогодние дни, пока горят свечи на елке. Все остальное время она хранится в глубинах старого шкафа, и речи не может быть о том, чтобы завести ее в другие вечера.

Дом №5/6 по Мансуровскому переулку. Вход со двора. Москва. 1970-е годы. Фото Е. Вельчинского

Никакого застолья, чаепития вслед за тем не последовало, и мы втроем: мама, папа и я удалились в свое восьмиметровое жилое пространство.

Невесело семья наша встретила новый, 1953 год. Тоскливое, тревожное время. Не пройдет и двух недель, как оно станет леденящим. В газетах опубликуют письмо зловещей Лидии Тимашук, разоблачившей врачей-отравителей.

К этому времени бабушка исчерпала свои физические ресурсы. Ей нет и семидесяти пяти, но она кажется совсем дряхлой — грузная и почти слепая, целыми днями сидит в кресле, а если и поднимается, то с большим трудом. Физическая немощ ничуть не повлияла на блестящий бабушкин интеллект, и он нисколько не потускнел. Не потускнело и красивое ее лицо. Волосы, уложенные в ту же прическу, которую носила бабушка в начале века, пронизательный (незвирая на фактическую слепоту) взгляд, посадка головы — все свидетельствует о том, что десятилетия советских реалий не уничтожили породистого облика. И бабушка все еще работает юриконсультантом в своем Главсланце, и будет работать там до последнего дня жизни. День этот не за горами. Дедушка умер скоропостижно 5 декабря того же 53-го года, в день Сталинской конституции.

Казалось, мы с папой только что говорили с бабушкой, только что небольшая его фигурка в каракулевым пирожке и длинном черном пальто медленно спускалась по ступенькам соседнего магазина. А мы с папой как раз собирались по этим ступенькам подняться. Встреча была немногословной, самой обыденной. Скудный диалог между папой и бабушкой касал-

ся какой-то селедки, которую «давали» в тот день в магазине, известном в народе под названием «Четвертый». Да и какой она могла быть, эта встреча, если мы только что виделись дома и не более чем через полчаса столкнулись бы в нашем коридоре снова.

И действительно, мне еще предстояло увидеть бабушку, и очень скоро, но только один-единственный раз, последний. Дедушка неподвижно сидел у окна в темно-зеленом кресле с высокой спинкой, и над запрокинутой его головой клубился морозный пар из открытой форточкой.

Вечером меня увели к троюродным сестрам, в Сивцев Вражек, и оставили там на ночь. Темноватая чужая квартира, неприличная еда, жесткая щетка для волос. Дедушку мне больше не показали. И на поминках по бабушке я не была, но теперь знаю, что Борис Леонидович Пастернак читал в тот вечер стихотворение «Август», написанное совсем недавно, прошедшим летом.

Ужас, пережитый в первые месяцы судьбоносного 53-го года, сократил жизнь моего деда, а вслед за ним и бабушки. Одно утешает — ровно на девять месяцев, день в день, бабушка пережила Сталина. А бабушка умерла через четыре месяца после деда, 31 марта 54-го года. Со смертью бабушки фактически закончилась и ее жизнь. К этому времени я подросла, мне исполнилось шесть, и на этот раз меня оставили дома. Я стояла на стуле возле гроба, понимала, что момент скорбный, кажется даже, что глаза мои увлажнились, но, скользнув взглядом по неподвижному бабушкиному лицу, я уставилась на корзину затуманенных малиновых цикламенов, потому что, к моему изумлению, папа сказал, будто цветы эти бабушке от меня.

Бабушкиной смерти предшествовало исчезновение снегиря. Ручной снегирь летал по комнате, садился на ладонь и плечи, а в клетку возвращался поклевать зерен и попить воды. Прежде у нас жили щеглы, и каждую весну мы отправлялись в Архангельское и выпускали щеглов на волю. Прожив с нами зиму, щеглы оставались чужими, а вот снегирь стал совершенно своим. И накануне бабушкиной смерти исчез. Решили, что в беспокойстве и суматохе последних дней в комнату пробралась соседская кошка Мурка и сожрала снегиря. А в начале лета снегирь отыскался, но неживой и бесплотный. Мумия снегиря лежала на сундуке за шкафом под ворохом летней одежды. Как он туда забрался, наш снегирь, непонятно. Грудка снегиря была того же, подернутого сизым туманом, малинового цвета, что и цикламены у бабушкиного гроба. Бабушки с бабушкой, как явствует из этого текста, нет на свете уже более полувека, умерли мои родители, тетушка. Так, может быть, пора уже совершить небольшой экскурс в семейную историю?

Бабушка с бабушкой познакомились в 1896 году на знаменитой Нижегородской ярмарке. Инженерная контора прадеда, гражданина Северо-Американских Соединенных Штатов и крупного российского промышленника, Александра Вениаминовича Бари, выполнила заказ на строительство ярмарочных павильонов. Автором блестящих инженерных проектов был Владимир Григорьевич Шухов, организатором работ — мой



Дом Бари в Архангельском переулке. Москва. 1900



Всероссийская Нижегородская ярмарка. Гиперболоидная башня Шухова на фоне главного павильона. Нижний Новгород. 1896. Фото М. Дмитриева. В.Г.Шухов и А.В.Бари. Москва. 1880-е годы



А.В. и З.Я. Бари. Филадельфия. 1870-е годы



Дети Бари: Анна, Ольга, Евгения, Виктор, Лидия, Владимир. Москва. 1 января 1889



*Фотография, сделанная к серебряной свадьбе А.В. и З.Я. Бари.
В первом ряду, справа налево: Г.С.Бари (Кан), Георгий Бари, Мария Бари,
Анна Бари, Екатерина Бари; во втором ряду: Евгения Бари, Виктор Бари,
Ольга Бари, Лидия Бари, Владимир Бари. Москва. 1898*

прадед. Сотрудники его конторы приехали в Нижний Новгород с семьями. И прадед прибыл со старшими своими детьми, среди которых была и будущая моя бабушка.

На вершине остро современной по тому времени «гиперболоидной» водонапорной башни, самого высокого ярмарочного сооружения, значилось: «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА ИНЖЕНЕРА А.В. БАРИ». Так что все сотрудники прадеда чувствовали себя именинниками и гордились участием в грандиозном деле. Настроение было праздничное, и после нижегородского триумфа на документах конторы Бари появился герб Российской империи, придавший конторе прадеда и ему самому статус «поставщика двора Его Величества».

Накануне открытия выставки и прибытия в Нижний Новгород императорской семьи на город обрушился град и побил часть стекол в куполе главного ярмарочного павильона. Заменить выбитые стекла новыми времени не было. Прадед вышел из положения с блеском. Со словами: «Разобьем и остальные, авось завтра будет погода» — вскарабкался вместе с рабочими на крышу павильона, и совместными усилиями уцелевшие стекла разбили. Погода на следующий день действительно выдалась чудесная, довольный ярмаркой Государь особо отметил ослепительную чистоту сияющего «стеклянного» купола.

Итак, бабушка приехала на ярмарку с отцом и сестрами, а дедушка с родным своим дядей Григорием Михайловичем Фарбштейном, инженером и сотрудником конторы Бари. Повстречав семнадцатилетнюю бабушку, семнадцатилетний дедушка мгновенно в нее влюбился и следующие семнадцать лет добивался взаимности. И только 15 сентября 1913 года бабушка с дедушкой обвенчались в храме Архангела Гавриила в Архангельском переулке. Этот храм известен как Меншикова башня, лучший образец московского барокко. Два храма: Архангела Гавриила и Феодора Стратилата составляют ныне Антиохийское подворье в Москве. А тогда семья Бари жила в двух шагах от храма.

Надо думать, что дед мой принял православие, дабы преодолеть черту оседлости и продолжить образование, а при каких обстоятельствах состоялся бабушкин переход в православную веру из евангелическо-лютеранской, мне неизвестно. Во всяком случае, при крещении, как и полагается лютеранам, бабушка получила три имени — Вера-Ольга-Амалия. В жизни же звалась Ольгой и именины праздновала 24 июля. Бабушкиной крестной была родная ее тетка Екатерина Яковлевна Кохманская.

Кстати говоря, внук бабушкиной крестной, Борис, сын ее дочери Софьи Валентиновны и Юлиана Игнатъевича Поплавского — яркая и трагическая фигура русского литературного зарубежья. Один из многочисленных его воспоминателей, поэт Николай Оцуп, назвал Бориса Поплавского, художника и поэта, «монпарнасским царевичем». Трагический конец тридцатидвухлетнего Бориса окутан тайной. «Монпарнасский царевич» умер от передозировки героина, и неясно, была эта смерть случайностью или преднамеренным убийством. Потому что приятель Бориса, некто Ярко, вроде бы задумал самоубийство, но боялся пуститься в последний путь в одиночку и искал спутника. Спутником этим, неведомо для себя, стал

внук тети Кати Кохманской. Предположение не случайно, оно основано на письме этого самого Ярко, отправленном невесте незадолго до общего их с Борисом ухода.

После Бориса осталось огромное наследие, художественное и литературное, последние годы его активно публикуют. Стихи, рисунки, автобиографический роман «Аполлон Безобразов», а также дневники Поплавского, в соответствии с желанием Бориса, родители его, Юлиан Игнатъевич и Софья Валентиновна передали Дине Татищевой (урожденной Шрайбман) — сначала возлюбленной Бориса, а потом преданному его другу. Ну а после смерти Дины, случившейся в 1940 году, архив остался в семье Татищевых, и в 2000-м младший сын Дины Шрайбман и Николая Татищева, тоже Борис, передал его России. Борис Татищев родился через полгода после гибели Бориса Поплавского, назван его именем, а крестной матерью новорожденного стала Софья Поплавская, двоюродная сестра моей бабушки.



Анна и Ольга Бари. Дом Борисовского близ Курского вокзала. Москва. 1890-е годы

После смерти Бориса Поплавского Владимир Набоков написал о нем: «Я не знал умершего молодым Поплавского — далекой скрипки среди близких балалаек... Его заунывного звука я никогда не забуду, как не прощу себе раздраженной рецензии, с которой напал на пустяковые недочеты его неоперившихся стихов».

А вот удивительные слова, написанные самим Борисом, трагическим нашим родственником: «Искусство есть частное письмо, посылаемое наугад друзьям, и как бы протест против разлуки любящих в пространстве и во времени».

За семнадцать лет, разделивших встречу бабушки и дедушки и день их свадьбы, много чего произошло в жизни обоих. Во-первых, осенью 1900 года бабушка поступила на историко-филологическое отделение вновь открывшихся после перерыва Высших женских курсов и получила билет № 9 за подписью В.Герье. Учением увлеклась необычайно. Любимейшими учителями стали Виппер и Трубецкой. С увлечением слушала Ключевского, Виноградова, Герье. Не склонная к мажору, бабушка писала на первых порах: «До чего у нас хорошо на курсах! Чудо! Я

прямо-таки счастлива. Если мне удастся много и толково заниматься, я буду положительно счастливым человеком. Так светло впереди... Хочется много, много знать, жить! Во мне никогда не было столько энергии и силы!»

А весной 1902 года бабушка впервые оказалась в Италии. Страна и ее искусство так потрясли бабушку, что, вернувшись в Москву, она переменяла участь. Начала учиться живописи у Леонида Осиповича Пастернака, а вскоре и выставлять работы на выставках «Мира искусства», Московского салона, Союза русских художников.

Судя по всему, выбор учителя отчасти определило семейное почитание Толстого, роман которого «Воскресение» так прекрасно проиллюстрировал Леонид Пастернак. Прадед был знаком с Толстым и связан с ним делами. В частности, финансировал переезд в Канаду группы опекаемых Львом Николаевичем духоборов. А Толстой, в свою очередь, заинтересовался котлостроительным заводом Бари (после революции «Парострой», потом известнейший столичный завод «Динамо»). До него дошел слух, будто на этом заводе рабочие живут неплохо и даже участвуют в прибылях.

Занятия с Пастернаком привели к тому, что на долгие годы две семьи связали приятельные отношения. На авантитуле первого издания поэмы «Девятьсот пятый год», подаренного бабушке, дарственная надпись: «Дорогой Ольге Александровне в день ее рождения на добрую память и в воспоминание о нашем семейном нашествии в ночь, когда Училищу Живописи угрожали штурм или осада. Б.Пастернак 7.II.28».

Суть надписи прояснилась, когда я прочла книгу Евгения Пастернака «Борис Пастернак. Материалы для биографии». Оказывается, в конце октября 1905 года Пастернаки всей семьей «на несколько дней перебирались в знаковый дом инженера А.В.Бари, за почтамт, на угол Кривоколенного и Телеграфного (Архангельского) переулков». В тяжелое это время девочки Пастернак, Лида и Жоня (Жозефина), как на грех болели скарлатиной.

С головой погрузившись в занятия живописью, каждую весну бабушка устремлялась в Италию, а для удобства обитания в этой стране выучила в дополнение к немецкому, французскому и английскому языкам еще и итальянский. В семье нашей поселились с тех пор чудесные предметы, привезенные бабушкой из итальянских путешествий. В первую очередь — трогательный Бамбино, гипсовый слепок с головки младенца Иисуса работы Верроккьо. Это не просто слепок, а по семейному ощущению почти живое существо, обитающее с тех давних итальянских времен в нашем доме. И еще один слепок, тоже с Верроккьо — голова Давида, сразившего Голиафа. Кудрявая голова Давида, по общему мнению, наклоню, улыбка и выражением лица похожа на бабушку в молодости (а ведь легенда гласит, что своего Давида Верроккьо лепил с молодого Леонардо да Винчи).

Висит на стене маленький, ремесленный, но очень мастерский акварельный этюд Венеции с бледным зеленовато-голубым венецианским небом, каналом и, разумеется, гондольером. Скелен, но жив слепок тангрской терракоты — женской фигурки с веером. Короче говоря, память о судьбоносной бабушкиной Италии материализована и жива.

За годы, отделившие первую встречу бабушки и дедушки от их венчания, бабушка испытала многое: увлечения, разочарования, депрессии и даже тяжелую нервную болезнь. А в апреле 1913 года потеряла отца. Вот строки из бабушкиного письма, написанного в самом начале девятисотых: «Мало людей знают и ценят папу. Это лучший человек! Это человек в полном смысле слова! Если есть настоящие христиане, то — вот папа. Если бы я сию минуту видела бы Толстого, я бы спросила его о папе. Какая это душа. Для меня это воплощение добра и вообще всего, из-за чего только стоит жить на свете». Между бабушкой и ее отцом всегда существовало глубокое взаимопонимание. Письма свои к бабушке прадед подписывал — «твой друг и Папа».

Дедушка же мой, Семен Айзенман, все эти годы находился в пределах досягаемости, писал бабушке письма, посвящал стихи, присылал букеты к дням рождения и именинам, навещал в Москве и на даче, страдал — одним словом, был рядом. А кроме этого окончил юридический факультет Московского университета, стал присяжным поверенным с собственной практикой и внештатным корреспондентом нескольких московских газет.

Сохранилось немало стихотворений, написание которых вдохновила дедушку бабушка. Вот несколько строф из одного, под названием: «К букету из белой и золотой ромашки», датированного 25 января 1907 года, днем бабушкиного двадцативосьмилетия:

Замерзли воды, листья пали,
Настала снежная зима.
Звучал рояль в холодном зале
Глядела в окна злая тьма.

Твои мелькали быстро руки,
От них на пол ложилась тень.
Иплыли стонущие звуки...
Я вспомнил дальний летний день.

Тогда мы в лодке с кем-то плыли,
Но видел я тебя одну...
Лучи косые золотили
Твоей одежды белизну.

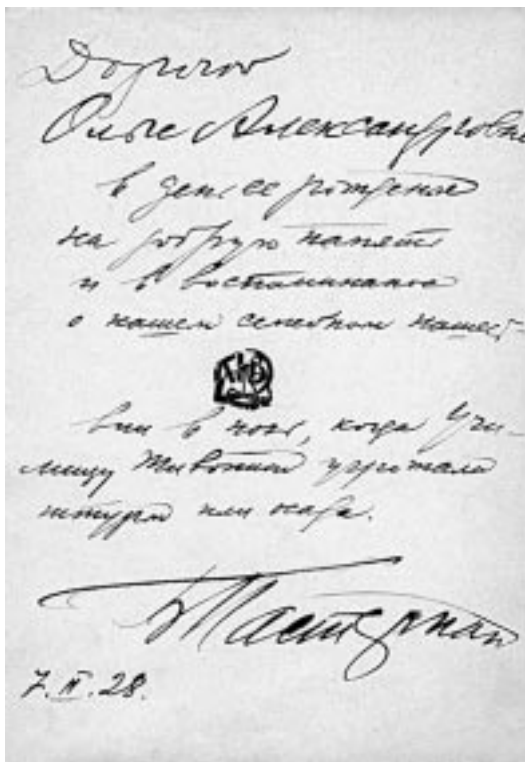
О, как тогда все было ясно!
Все солнце сделало простым.
Ты, как теперь, была прекрасна.
Была ты в белом с золотым...

Лодка, река, белые одежды, рояль в холодном зале — не поэтическая фантазия. Это подмосковное имение Райки, в котором несколько лет снимала дачу семья прадеда. А бабушка жила там не только летом, но и осенью, и зимой, и ранними веснами. И пианисткой она, кстати говоря, была отменной. Долгие годы и очень серьезно занималась с чудесным музыкантом и прекрасным московским педагогом — Эмилией Исааковной Огус-Шапкевич.

Там же по совету Бари на три лета поселилась и семья Пастернаков. Райская, судя по всему, жизнь шла в Райках — череда семейных праздников, иллюминаций, веселых прогулок и путешествий по окрестностям. От совместной с мальчиками Пастернаками поездки на Медвежьи озера сохранилась стопка фотографий. Вот описание одного из райковских гуляний — выдержка из письма гимназиста Бориса Пастернака, посланного родителям в Берлин: «Вчерашний ваш отъезд мы справили “венецианским” гулянием с иллюминацией, песнями, под благонадежным надзором. В черной змейками колеблющейся маслянистой жидкости пруда металлически-яркое отражение фонариков. — Это было замечательно. Луна была первостатейная. Бари знают уйму шансонет на всех языках и такую же массу народных песен».

Невозможно представить бабушку, распевшую французские шансонетки. Поразившую мальчиков Пастернаков эрудицию продемонстрировали, конечно же, младшие Бари. Дело в том, что бабушка в семье своей родной, хотя и не казалась девочкой чужой, но с некоторых пор существовала особняком. В своего рода вакууме, образовавшемся между сестрами, вышедшими замуж и жившими жизнью своих семей, и младшими — из-за возраста, да и по иным причинам, в те времена душевно не близкими. Что вовсе не исключало родственных, взаимно заинтересованных отношений, о которых свидетельствуют сотни писем, которыми пять сестер из шести: Анна, Ольга, Евгения, Лида и Мария обменивались на протяжении всей своей жизни. Жизнь шестой, самой младшей сестры, Екатерины, прошла вдали от России.

Множество фотографий, запечатлевших детей Бари с родителями и без них, во всех возрастах, неопровержимо свидетельствуют о том, что были они здоровыми и красивыми. Дочери, все без исключения, обладали прелестной внешностью, умом, разнообразными талантами и истинной жизнестойкостью, все до одной оказались яркими и сильными личностями. Жизни



Автограф Б.Л.Пастернака на книге «Борис Пастернак. Девятьсот пятый год. М.; Л.: Госиздат, 1927»



Ольга Бари. Перловка. 1894

Дорогой Маше
с очень нежными чувствами
вам и с благодарностью, что
у меня нет книги
Полы Голубович, ? нарисован
се когда вы будете попри
вним эту книгу
Верно ? Мае

Б. Пастернак

12.11.32

Автограф Б.Л.Пастернака на книге
«Борис Пастернак. Второе рождение.
М.: Федерация. 1932»

Дорогому Алексею
поздравительного
поздравления
к дню его рождения
много в школе
с теплотой и сердеч-
ливого пожелания и пере-
дачи,

От друзей

Б. Пастернак

12.11.32

Автограф Б.Л.Пастернака на книге
«Борис Пастернак. Девятьсот пятый год.
Л.: Изд-во писателей. 1932»

Дорогим:
Всего Александру
Свету Георгиевичу
Маше и Алексею,
с искренней признательностью
за статью в журнале №11.35,
он любезно их
и статьи и участие
множеством своим в эти
годы, переживания.

Автограф Б.Л.Пастернака на книге
«Б.Пастернак. Грузинские лирики.
М.: Советский писатель. 1935»

Дорогим
Б.Зенманам
от их, шотландцев
на такой и то и
же месте
Знакомого.

И знак глубокой
преданности

Б. Пастернак

29.11.1945

Автограф Б.Л.Пастернака на книге
«Борис Пастернак. Избранные стихи и поэмы.
М.: ОГИЗ, 1945»

пятерых сестер, прожитые ими в России, прошли на глазах друг у друга. О жизни младшей сестры, красавицы Кати, известно немного. В эмиграции ей пришлось много трудиться, она оказалась человеком талантливым и работоспособным, стала художником по фарфору.

Но однажды дошла до Москвы странная весточка от Кати. В шестнадцатом номере журнала «Экран» за 1927 год появилась ее фотография с подписью: «Героиня очередной американской сенсации, Екатерина Бэри, нанеся пощечину гастролирующему в Нью-Йорке Керенскому. За это «оскорбление действиями» она оштрафована судом на 4 1/2 доллара. А сколько она получила от желтых газет за доставленную им сенсацию?»

Тетя Катя с победительной улыбкой и растрепанным букетом в руках, который она должна была поднести Александру Федоровичу от всей русской эмиграции, выглядит на фото удивительно эффектно, хоть и постарше своих в ту пору тридцати шести лет. Видимо, сфотографировали Катю сразу же после ее выходки.

В конце сороковых очень уже немолодая Катя вышла замуж за Ивана Ивановича Язвинского, некогда танцовщика Императорского Большого театра, затем актера Дягилевской труппы, после смерти Дягилева танцевавшего в труппе Анны Павловой, а потом работавшего хореографом в музыкальных театрах Парижа и Монте-Карло у Рене Блюма. Затем, в течение долгих лет, у Ивана Ивановича была собственная балетная школа в Нью-Йорке. Рудольф Нуриев считал Язвинского великим танцовщиком. По слухам, тетя Катя унаследовала от мужа, умершего в семье еще третьем году, часть дягилевского архива, но сундук с бесценными документами затопило в подвале нью-йоркского дома для престарелых, в котором окончила свои дни восьмидесятилетняя Екатерина Бари.

Жизни троих сыновей Бари прошли вдали от России, и мы знаем о них не слишком много. Известно только, что все дети, невзирая на широкий спектр разного рода каверз, драм, трагедий и иных тягостных обстоятельств, предложенных им эпохой, дожили до старости. Меньше всех, семьдесят два года, прожила на свете старшая — Анна. Самая долгая жизнь оказалась у Лидии, скоропостижно скончавшейся накануне своего девяностосемилетия. В общей сложности девять детей Александра Вениаминовича и Зинаиды Яковлевны прожили на свете семьсот пятьдесят шесть лет. Вот такая внушительная семейная статистика.

Возвращаясь в лето 1907 года, в подмосковные Райки, во времена, когда все еще были живы, нужно сказать, что юный Пастернак заметил бабушкину непохожесть, ощутил непростое ее устройство. Тогда же, быстро пресытившись райковскими развлечениями, написал родителям: «Здесь нет никого, никого интересного, единственный человек, с которым мне бы хотелось поговорить, это Ольга Александровна, но это не придется наверное...»

С годами разница в возрасте утратила значение, и совсем в другие времена, шагая по Москве, Борис Леонидович иногда забредал к нам, в Мансуровский, и непременно приносил бабушке коробочку шоколадных конфет — красно-золотую, с оленем. Это называлось: «пришел поэт — принес конфет». Наутро мне доставались дубовые листочки и желуди — маленькие плоские шоколадки без начинки. А вот при чтении стихов, по причине раннего возраста, мне присутствовать

не полагалось. Поэтическое пастернаковское гудение я слушала из-за двери и мелодию эту хорошо помню. Конечно же, бабушка оказалась в числе первых читателей «Доктора Живаго». Роман Пастернака ей не понравился, стихами Юрия Живаго она восхитилась.

А в то давнее райковское лето семнадцатилетнему гимназисту говорить с двадцативосьмилетней женщиной было, видимо, непросто. Бабушка же внимательно наблюдала за жизнью пастернаковских детей и сообщала Леониду Осиповичу и Розалии Исидоровне, что видит детей ежедневно и живут они благополучно и радостно.

Из груди райковских фотографий возникла одна, запечатлевшая общество на террасе.



В Райках. Первая слева — Ольга Бари; первый справа — Семен Айзенман. 1906

В центре композиции, на ажурном диванчике, плотный вальяжный господин с галстуком-бабочкой и тростью. Это искусствовед, собиратель, а в те годы еще и банковский служащий, Павел Давыдович Эттингер. Слева от него Розалия Исидоровна Пастернак с дочерьми — Лидией и Жозефиной. Мужчины Пастернаки: красавец Леонид Осипович в свитере и Боря с Шурой — в гимназических фуражках, оседлали перила. Авантажный мужчина с

усаами и ромашкой в петлице о перила облокотился. Это друг Эттингера и Пастернаков, хороший бабушкин знакомый доктор Лев Григорьевич Левин. Тот самый Левин, который в советские времена лечил сановников высокого ранга, а потом был уничтожен вместе с коллегой своим, доктором Плетневым. Через двадцать девять лет после того райковского лета врачей Плетнева и Левина обвинили в убийстве Горького. На пасторальной райковской фотографии моя молодая



Слева направо: Александр Пастернак, Борис Пастернак, Лидия Бари, Семен Айзенман, Мария Бари, Мария Шамшина, Виктор Бари. Медвежье озеро. 1907

бабушка, вся в белом, сидит в кресле, справа от Павла Давыдовича. Бабушка задумчива, поза ее грациозна, кажется, будто она только что вышла из дедушкиного стихотворения о белом и золотом.

Некогда Райками владел Н.В.Путята. Потом чудное имение, по примеру чеховского вишневого сада, перешло в руки предприимчивого человека Некрасова, который стал сдавать под дачи разнокалиберные флигели и хозяйственные постройки. Райки и сейчас существуют, туда несложно добраться, если сесть на электричку на Курском вокзале и доехать до станции Чкаловская. В советские времена в Райках помещался санаторий Министерства иностранных дел (а не склад, не колония для малолетних преступников, не машинно-тракторная станция и не птицеферма), и поэтому имение хорошо сохранилось.

Нигде так продуктивно не работало бабушке, как в Райках. Она наслаждалась райковской природой, ее переполняли идеи. Дневниковые записи того периода испещрены замыслами пейзажей. Райковские работы имели успех, и именно ими дебютировала бабушка на выставке Московского товарищества художников.

Представить, как выглядела бабушка в те годы, можно не только по дедушкиным стихам и сохранившимся в изобилии фотографиям, но и по письму ее брата Володи, учившегося в Германии, в городе Карлсруэ. Стосковавшись по дому, в июле 1912 года Володя писал старшей сестре Ольге, с которой очень дружил в детстве и ранней юности: «...Я, например, ясно-ясно вижу, как я с тобой в Благородном собрании на концерте Гофмана или Никиша. Ты в темном бархатном платье, улыбающаяся, и два локона по бокам лица; ты немного сгорбилась и наклонила голову набок; там внизу бесятся, шумят, а мы на хорах спокойно сидим, в ушах еще Шорин'овский этюд...»

Я представляю себе даже запах, исходивший от бабушкиного концертного платья, потому что в моем комоде до сих пор лежит флакон духов фирмы «Сбту» с хорошо притертой пробкой. Флакону не менее ста лет, он заключен в черную кожаную коробочку, давно пуст, но если вынуть пробку, то оказывается, что воспоминание о былом запахе сохранилось. Лет сорок назад, когда я впервые вдохнула стойкий старинный аромат, он ощущался гораздо явственнее, чем сегодня. Что и говорить, перед мысленным взором возникает привлекательный женский образ, объясняющий семнадцатилетнее дедушкино ожидание.

А с польским пианистом Иосифом Гофманом, упомянутым в Володином письме, бабушка познакомилась еще в юности, в Бад-Киссингене, в том же 1896 году, что и с моим дедушкой. Сохранилась наклеенная на большое паспарту фотография миловидного Гофмана — нежного мальчика во фраке, с многозначительной дарственной надписью, возможно даже подразумевавшей нечто романтической.

Бабушка регулярно посещала все концерты знакомого своей юности (Гофман давно уже стал звездой первой величины и гастролировал в Москве каждую зиму), а спустя шестнадцать лет, в июле 1912 года, встретила с ним в том же Киссингене, на том же Strand'e, по которому прогуливались отдыхающие шестнадцать лет назад. Три недели бабушка с Гофманом подолгу гуляли вдвоем и бесконечно разговаривали. Вопреки обыкновению Гофман разрешил бабушке присутствовать на своих занятиях. Прогулки с Гофманом, разговоры, впечатления от его игры бабушка подробно и точно описывала. Образовалась толстая стопочка двязычных дневниковых записей, сделанных по самым свежим впечатлениям. Речи Гофмана записаны по-немецки красивым готическим курсивом, бабушкины комментарии — по-русски. Тогда же бабушка познакомила Гофмана с Леонидом Осиповичем Пастернаком и женой его Розалией Исидоровной, блестящей пианисткой. Висящий на стене карандашный портрет Гофмана за роylem один из тех, что сделал Леонид Осипович тем киссингенским летом, 29 июля 1912 года. Знакомство Пастернаков с Гофманом и рисовальный сеанс подробно описаны в бабушкином дневнике. Рисунков было несколько, этот, подаренный Леонидом Осиповичем, бабушка выбрала за наибольшее сходство с моделью.

А Иосиф Гофман был не только пианистом-виртуозом и музыкальным теоретиком — автором книг о фортепьянной игре. Страстный автомобилист и изобретатель, именно он первым придумал такую остроумную и актуальную штуку, как автомобильные «дворники». На счету Гофмана-изобретателя и другие технические чудеса.

Через год с небольшим после гофмановско-киссингенского лета дедушкины испытания закончились, и состоялась скромная свадьба. Скромной свадьба была не только потому, что жених и невеста не любили пышности, но и оттого, что в апреле того же 1913 года умер Александр Вениаминович Бари. Подарив детям семьсот пятьдесят шесть лет жизни, сам Александр Вениаминович прожил всего шестьдесят шесть и из жизни ушел, как вскоре выяснилось, вовремя. Потому что умер «до всего»: до империалистической войны, до февральской революции, до октябрьского переворота. Как сложилась бы жизнь семьи, не скончайся прадед в ночь с 5 на 6 апреля 1913 года, представить трудно. Американский гражданин и российский патриот, все свои капиталы Александр Вениаминович вложил в российскую промышленность. Хотя ничуть относительно российской реальности не обольщался и часто повторял, что «лучше быть кондуктором трамвая в Цюрихе, чем миллионером в России». Еще в сентябре 1905 года писал жене из Петербурга: «Не весело теперь в России, а надо сидеть и терпеть». А в августе 1906-го в письме к дочери Ольге: «На всех покушение на Столыпина произвело удручающее впечатление. Мрак и ужас впереди, картина печальная». Прадед трезво оценивал российскую ситуацию.

А жизнь Александр Вениаминович Бари прожил блестящую. Шестнадцатилетним юношей, оказавшись вместе с семьей в Швейцарии, Александр Бари закончил в Цюрихе Политехническую школу и поступил механиком на пароход «Perier», двенадцатого августа тысяча восемьсот семидесятого года покинувший город Гавр. Добравшись до Северо-Американских Соединенных Штатов,

прадед натурализовался и провел в этой стране семь лет. Блестящую свою карьеру начал помощником инженера на мостовом заводе в Детройте. В 1875–1876 годах Александр Бари принял участие в конкурсе по строительству павильонов Всемирной выставки в Филадельфии, посвященной 100-летию независимости Северо-Американских Соединенных Штатов и получил за свой проект Гран-при и золотую медаль. Впервые в инженерной практике США Александр Бари спроектировал и построил здания с купольной системой световых фонарей и сетчатым остекленным каркасом перекрытия. В 1990 году в Филадельфии побывал Евгений Борисович Пастернак, и оказалось, что Центральный павильон Всемирной выставки 1876 года, выстроенный Бари, все еще функционирует.

Там же, в Филадельфии, в доме старшего брата Генри, Александр Бари познакомился с женой своей Эдой (Зинаидой) фон Грюнберг. Фон Грюнберги обрусели давным-давно, еще при Екатерине. Эда была младшей сестрой Веры, жены Генри, и приехала вместе с нею из России в Америку. И в доме сестры обреда восхитительного мужа. Редкостный семьянин, Александр Вениаминович был еще и красавцем, к тому же отменно фотографичным. На всех фотографиях, во всех возрастах прадед, без преувеличения, ослепителен.

В Россию образовавшаяся в Америке семья вернулась в 1877 году, потеряв сына Александра, но родив Анну (семейное имя Биба — от «baby»). Вернулись главным образом по настоянию Зинаиды Яковлевны, стремившейся на родину. В Петербурге Александра Вениаминовича пригласил на службу Людвиг



На даче Пастернаков. В первом ряду, справа налево: О.А.Бари, П.Д.Эттингер, Р.И.Пастернак с дочерьми Лидией и Жозефиной, Л.А.Бари; во втором ряду, справа налево: Б.Л.Пастернак, Л.Г.Левин, А.Л.Пастернак, Л.О.Пастернак. Райки. 1907

Нобель. Два года прадед прослужил в его фирме главным инженером. Прекрасно организовав нефтяное дело в Баку и Грозном, заслужил прозвище Грозный Бари. Однако он стремился к собственному делу и вскоре переехал с семьей в Москву, где и развернулся во всю свою профессиональную мощь. Александр Бари купил участок земли в Симоновой слободе, выстроил котлостроительный завод, организовал строительную контору и пригласил на службу в качестве ее технического директора и главного инженера Владимира Григорьевича Шухова, с которым познакомился еще в Филадельфии, на Всемирной выставке, куда в составе делегации русских ученых приезжал этот совсем еще молодой инженер. Двадцатисемилетний Бари сопровождал русскую делегацию и по достоинству оценил двадцатитрехлетнего Шухова. Удивительный этот тандем — гениальный инженер и незаурядный организатор с блестящим инженерным образованием — за тридцать пять лет альянса сотворил в России уйму добрых дел, воплотившихся, без преувеличения, в тысячах и тысячах разнообразных сооружений. Это нефтепроводы, газгольдеры, водонапорные башни, нефтеналивные баржи, водотрубные паровые котлы, шпалопропиточные заводы, доменные печи, комплексы зерновых элеваторов, более четырехсот железнодорожных мостов, полторы сотни гиперболических сетчатых башен, свыше 400 000 кв. метров металлических сетчатых перекрытий, воздушно-канатные дороги, маяки, заводы-холодильники, дебаркадеры, водопроводы, вагоностроительные заводы.

Строительная контора Бари принимала участие в создании уникальных инженерных сооружений. В Москве это: световые фонари Верхних торговых рядов (ГУМ), Петровского пассажа, гостиницы «Метрополь», магазина Мюра и Мерилиза (ЦУМ), Музея Императора Александра III (ГМИИ им. А.С.Пушкина), перекрытие дебаркадера Киевского вокзала, Центральный холодильник возле Павелецкого вокзала, типография И.Д.Сытина «Русское слово», Московский почтамт, многоярусная вращающаяся сцена МХАТа, реконструкция Московского училища живописи, ваяния и зодчества, Высших женских курсов (МПУ им. Ленина), депо, трамвайные парки, заводские здания.

И хотя злые, а скорее всего, просто завистливые языки называли строительную контору Бари «конторой по эксплуатации изобретений Шухова», известно (и документально подтверждено, благодаря существовавшей в фирме «прозрачной бухгалтерии»), что бывали годы, когда заработки Шухова существенно превосходили доходы владельца фирмы. Процентные же бумаги и акции строительной конторы Шухов держал наравне с членами семьи Бари и получал по ним солидные доходы.

А самое главное, в течение тридцати с лишним лет сотрудничества с фирмой Бари Шухов мог воплощать в жизнь все свои замыслы в небывало комфортных условиях, о которых творческий человек может только мечтать. Существует карта работ фирмы, составленная к тридцатилетнему юбилею ее существования. Сам Александр Вениаминович называл эту карту «Lied ohne Worte» («Песня без слов»).

Много лет назад друг нашей семьи Никита Константинович Мельников совершил немислимый для себя поступок, вероятно, единственный подобный в своей жизни. Он аккуратно вырезал из библиотечного (!) журнала «Исторический вестник» (№ 9 за 1896 год) пожелтевшую страничку — фрагмент статьи Б.Б.Глинского «Фабрично-заводская Россия». Мне было лет десять, я интересовалась многим, но только не историей собственной семьи. А Никита Константинович знал, как ценны даже крупицы сведений о людях, с которыми мы связаны кровно, особенно в нашу кастрированную эпоху.

Итак, Никита Константинович торжественно вручил мне пожелтевшую страничку, строго предупредил, чтобы я никогда не поступала с книгами подобным образом, и велел во что бы то ни стало листочек этот сохранить. Не особенно вникая в содержание статьи, загибнотизированная удивительным поступком и наставлениями Никиты Константиновича, страничку я сберегла. И привожу этот текст, занимательный для потомков Александра Вениаминовича:

«... и мне удалось побывать на одном заводе, где введен совершенно новый строй рабочей жизни. Завод этот (котельный) — инженера А.В.Бари, беседу с которым я привел выше».



Свадебная фотография С.Б.Айзенмана и О.А.Бари. Архангельский переулок. Москва. 15 сентября 1913

Увы, текста беседы нет, позволить себе вырезать из журнала целые две страницы Никита Константинович, конечно же, не мог.

«Я не стану по недостатку места описывать оригинальной постройки этого завода, с его крышей в виде опрокинутой воронки широкого диаметра, еще не оцененной нашими инженерами, не стану описывать и, так сказать, лагерного, подвижного способа работать во всевозможных углах России фирмы почтенного инженера. Остановлюсь лишь на рабочем режиме, установленном энергичным хозяином. Рабочий день на заводе г. Бари измеряется всего лишь десятичасовой работой, причем это сокращение рабочего времени не имеет никакого влияния на размер заработной платы: она выше платы на остальных фабриках на 10%. Система штрафного наказания совершенно здесь изгнана, а увольнения рабочих практикуются только в исключительных случаях. Рабочие получают в день от завода совершенно бесплатно по 6 кусков сахара на человека и чай 2 раза в день, без всякого ограничения порции, а также обед, состоящий из двух блюд: 1) супа с мясом (порция ½ ф.) и 2) каши с салом, причём хлеба можно потреблять вволю.

Я явился на завод экспромтом с одним из своих товарищей по работе исследования торгово-промышленной Москвы и регистрации фабрик и застал рабочих за обедом. Представьте себе длинный деревянный барак (к сожалению, несколько темноватый), где за столами, разделенные на десятки, с своими десятками во главе, сидят тихо, чинно целых 700 человек. Ложки быстро мелькают в воздухе. И проголодавшиеся на тяжелом труде рабочие вволю насыщаются вкусным, здоровым и бесплатным обедом. Не думайте, чтоб их порции супа (при мне была картофельная мясная похлебка и каша) были на немецкий манер аккуратно развешаны и определены. Нет — хочет десяток еще есть, десятский берет опорожненную миску, идет к буфетной стойке, и фельдшер, наблюдающий за кухней, наливает новую: кушайте, мол, братцы, на здоровье, набирайте сил — они нужны заводу.

Не думайте, говорил мне при свидании А.В.Бари, чтоб мною руководили какие-нибудь филантропические затеи. Я кормлю рабочих за свой счет потому, что мне это выгодно. Их еда (9-10 коп. на человека в день) меня не разорит, а напротив, дает прибыль на количестве и качестве работ. Я экономизирую здоровье, время, расположение духа рабочих и тем выигрываю только в барышах. Подумайте только: русский рабочий, существовавший доселе впроголодь и кормившийся разной мерзостью, вдруг получает вволю хлеба, мясной суп, кашу и излюбленный им чай, — подумайте только, каков отсюда должен быть подъем его духа, его самочувствие, и вы поймете, почему он работает у меня самым добросовестным образом и почему случаи увольнения с моего завода редки. Здесь не возникнет вопроса о стачках, и я решительно не знаю, как отбо-

явиться от предложения рабочих рук. Большинство моих рабочих живут у меня годами, а есть и такие, которые всецело принадлежат заводу уже десять-двенадцать лет и которые успели, благодаря существованию сберегательной кассы, скопить себе тысячный капиталчик.

Действительно, подъезжая к заводу, вы уже издалека видите большой аншлаг, оповещающий о существовании сберегательной кассы государственного банка при заводе г. Бари. Ежедневно, по субботам, сюда приезжает чиновник ко времени расчета и принимает от рабочих сбережения, пока те еще не перешагнули порога конторы и не успели насладиться прелестью соседних кабаков.

Приемный покой при заводе представляет собою образец порядка и чистоты, но что важнее всего — заболевшие рабочие сохраняют свою заработную плату в течение первой недели в полном размере, а потом в половинном. Этот остроумный и гуманный порядок повел к тому, что количество больных на заводе значительно сократилось: рабочему нечего перемогаться, и он прямо идет к доктору. Два-три дня полного отдыха на хорошей пище быстро восстанавливают железное здоровье русского мужика, и он спешит из скучной больничной комнаты снова к своему молоту и станку. Семьи умерших также не остаются на миру: завод принимает на себя заботу о них, и вдовы, в виде пожизненной пенсии, получают половину годичного заработка покойных мужей. Нечего и говорить, что европейски образованный инженер г. Бари сумел устроить на заводе усовершенствованные ретиралы, дезинфицируемые паром, отличную вентиляцию и прекрасное освещение всех отделений завода. В текущем году г. Бари имеет в виду устроить для рабочих квасоварню и бесплатную баню.

Два часа, проведенные мною здесь, на заводе, на живописном берегу Москвы-реки, остаются лучшим воспоминанием моей московской поездки: я видел уголок, где русскому черно-рабочему живет сытно и хорошо, где около него имеются интеллигентные люди, которые ценят его и как силу нравственную, и как великолепное живое орудие производства. Если бы пример г. Бари, основанный на практическом и умном расчете, нашел себе побольше подражаний... Но пока, увы! Такие, как г. Бари, более чем малочисленны...

После смерти прадеда, случившейся через семнадцать лет после опубликования статьи Глинского, в газетах появились многочисленные некрологи. Вот фрагменты текстов, опубликованных в газете «Утро России»:

«...Достаточно сказать, что первый наливной пароход в России построен был по чертежам А.В.Бари. Первый паровоз с нефтяным отоплением был пущен на рельсы — тем же Бари. ...В Москве А.В.Бари устроил русско-американскую компанию керосинового завода, учредил московское нефтепромышленное о-во в Грозном, Мытищенский вагоностроительный завод и выстроил образцовый котельный завод близ Симонова монастыря. Организация “дела” Бари была так обширна и интересна, что он одновременно мог строить: мосты в Оренбурге, стальные баржи на Дунае и паровозные мастерские в Вологде.

...Особенно выдвинулся А.В.Бари, построив для казны все здания всероссийской выставки 1896 г. в Н.-Новгороде, огромный эллипс в Петербурге.

...При иных условиях, в другой стране А.В.Бари стал бы Пирпонтон Морганом или стальным королем — Карнеджи, но он был русский по духу, любил свою родину и, ворочая десятками миллионов, львиную долю своих доходов отдавал своим сотрудникам, рабочим и так щедро помогал бедным, что его стипендиаты буквально насчитывались сотнями... 7 апреля 1913 года».

«Памяти А.В.Бари (письмо в редакцию)

Я часто посещал покойного Александра Вениаминовича, который принимал меня, как и всех своих посетителей, с особенной, только одному ему присущей радушностью. Однажды я пришел

к нему с бывшим директором Дружковского завода г. Наскье; во время нашей беседы докладывают о приходе гр. Л.Н.Толстого. Поздоровавшись, Лев Николаевич заявляет, что он очень спешит, потому что у подъезда его дожидается собака. А пришел он просить о приеме обратно на завод выздоравливающего после болезни рабочего. Александр Вениаминович довольно скромно заявил своему просителю, что еще вчера им сделано было распоряжение о выдаче этому рабочему по 50 рублей в месяц, и чтобы он оставался дома три месяца до полного выздоровления, — и тогда только он будет принят обратно на завод.

Вот какое счастье выпало на долю мне и моему директору-французу одновременно видеть перед собою гиганта-учителя, совместно со своим последователем, совершающими великий завет любви к малым сим.

И.М.Гальперин

10 апреля 1913».



С.Б.Айзенман с дочерью
Татьяной и сыном Алексеем.
Гоголевский бульвар.
Москва. 1921

Смерть прадеда ускорила бабушкино замужество. Через одиннадцать дней после смерти своего отца бабушка написала в дневнике:

«...Папочки нет, ушла с ним главная основа нашей общей жизни, а все мы существуем, едим, разговариваем, одеваемся, обсуждаем наше лето! ...Некоторые считают, что когда есть такое ужасное горе — помогают заботы, впечатления и т.п. А мне кажется это все тягостным и как-то оскорбительным для памяти папочки. Или потому так, что я одинока — вижу, что Бибе, Жене, Лиде — приходится думать и заботиться о детях, т.е. строить планы жизни — а у меня в душе — смерть. Может быть, дети — это спасение?.. Мужья их утешают, поддерживают в их горе — а дети заставляют жить, заботиться о жизни... Может быть, это “закон жизни” — облегчает горе?»

И 15 сентября 1913 года бабушка с дедушкой обвенчались. Семья Бари бабушкин брак единодушно признала мезальянсом, семнадцатилетнее дедушкино служение казалось родственникам не более чем настырным ожиданием богатой невесты. Замужество тридцатичетырехлетней Ольги отчего-то не укладывалось в сознании семьи. Не знаю, сумели ли развеять семейные подозрения последующие сорок лет, прожитые дедом и бабушкой в дружбе и взаимной преданности.

Дедушка мой, Семен Борисович Айзенман, родился в Ялте 7 июня 1879 года. Мать его Клара Михайловна рано рассталась с мужем и растила детей своих, сына и дочь, одна. Растить детей помогал брат, тот самый инженер Григорий Фарбштейн, сотрудник конторы Бари, с семьей которого и приехал на Нижегородскую ярмарку мой семнадцатилетний дедушка. Клара Михайловна и сестра дедушки, Мария Борисовна, поначалу тоже не обрадовались этому браку. Но скоро все утряслось, и бабушка подружилась со свекровью и золовкой. В письме, отправленном из города Армавира, где жили дедушкины родные, в Сорренто, в октябре тринадцатого года, Мария Борисовна написала брату: «К женитьбе твоей мы уже тоже привыкли, и у меня уже начинает развиваться какое-то родственное чувство к твоей жене. Ее письмо произвело на нас с мамой замечательно приятное впечатление. Если у нее наполовину такой спокойный и мягкий характер, как мягко ее письмо и спокоен почерк, то все всегда будет хорошо».

Отправляясь в свадебное путешествие, бабушка мечтала показать мужу любимую свою Италию. Но, видно, не очень везучий человек был мой дедушка, потому что, едва добравшись до Флоренции, заболел паратифом. Десять дней метался в жару и бреду. Сохранились температурные сводки тех дней — диаграммы с островерхими пиками, аккуратно вычерченными синим и красным карандашами температурными Пиренеями. Стараясь успокоить больного и молодую его жену, призвать их к терпению, флорентийский доктор, знавший несколько русских слов, во время визитов своих повторял: «Тэрпиньо, тэрпиньо...» Так это «тэрпиньо» и прижилось в семейном лексиконе.

Дедушка болел, а бабушка за ним ухаживала, хоть и сама чувствовала себя неважно, а временами отвратительно. И в результате плохого бабушкиного самочувствия, двадцать девя-

того, а по старому стилю шестнадцатого июня четырнадцатого года, в Москве, явилась на свет тетушка моя Татьяна.

Вернувшись из не слишком-то удавшегося свадебного путешествия, бабушка с дедушкой поселились в двухэтажном доме с мансардой, купленном прадедом в 1901 году.

Дом этот стоит в хорошем месте, на пересечении трех переулков: Архангельского, Кривоколенного и Потаповского. При доме двор и флигель XVIII века — скромная городская усадьба. По достоверным сведениям, во флигеле располагалась некогда масонская ложа, которой в течение ряда лет принадлежал храм Архангела Гавриила (Меншикова башня). В те давние времена стены храма даже украшали масонские знаки, впоследствии сбитые. Позже здесь же находилось консульство Северо-Американских Соединенных Штатов. В советские же времена на первом этаже главного дома на долгие годы обосновалось представительство вино-водочного объединения «Арарат». А недавно на стене флигеля появилась мемориальная доска следующего содержания:

Памятник истории и культуры
Жилой дом Фроловых — А.В.Бари
XIX—XX вв.

Архитектор Ф.Ф.Воскресенский
Здесь в 1918—1934 гг.

жил и работал инженер
Владимир Григорьевич Шухов
Охраняется государством

И хотя Шухов жил вовсе не во флигеле, а в главном доме, все равно любопытно было бы узнать что-нибудь о Фроловых, связанных отныне с семейством Бари тире и мемориальными узлами. А семья Шуховых, изгнанная из собственного дома на Новинском бульваре, переехала в Архангельский переулок после революции. В глубоко советские времена, полвека спустя после вселения в дом московских Бари, лубянского ведомство надстроило дом тремя этажами, и в таком виде он существует и сейчас.

В 1913 же году, после возвращения из Италии, на первом этаже дома у бабушки с дедушкой образовалось свое жилье — отдельная небольшая квартирка. С детской, разумеется, комнатой, в которой поселилась новорожденная моя тетушка. Рождение дочери стало радостью необыкновенной. Обоим родителям было по тридцать

пять, и можно представить, как они оценили и ощутили свершившееся счастье. Тем более что тетушка моя оказалась прелестным ребенком.

Ожидая младенца, бабушка представляла его сыном и писала в дневнике: «А как я его уже люблю! Такого маленького, черненького, слабенького...» А тетушка родилась крепкая, золотисто-кудрявая. Всю жизнь она была очень миловидной: хорошенькой девочкой, очаровательной девушкой, привлекательной женщиной. Но главное — обладала оригинальным умом, творческой энергией и талантом.

До самого рождения моего отца, произошедшего в непростом 18-м году, бабушка вела дневник, в котором записывала эпизоды Таниного детства и каждодневные достижения маленькой дочери. Одна из первых «Таниных» записей в бабушкином дневнике:

«9 июля Семен написал Тане стихи, — первые стихи ей!

9.VII.14. — Бородино

Я, Таня, был сейчас в лесу.

Вот первый гриб тебе несусу.

Ах, как там пахнет земляничкой

И красною лесной гвоздикой.

Бегут извилисто тропинки,

Паук развесил паутинки.

Я взять тебя с собой не мог,

И потому для милой дочки

В дневник пишу я эти строчки».

Как уже было сказано, Таня родилась 29 июня 1914 года, не подозревая о том, что накануне ее рождения, 28 июня, человек по имени Гаврило Принцип, член террористической организации «Молодая Босния», в городе Сараеве убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Убийство это, как известно, послужило поводом для того, чтобы через месяц, 1 августа 1914 года, Германия объявила войну России. Короче говоря, для молодой семьи бабушки и дедушки, как и для бесчисленного множества других семей, началась иная жизнь, совсем не та, которой жить предполагалось. Вспоминаются строки Ахматовой:

Меня, как реку,

Суровая эпоха повернула.

Мне подменили жизнь. В другое русло,

Мимо другого потекла она,

И я своих не знаю берегов.

Атмосфера, неуклонно сгущавшаяся со дня смерти Александра Вениаминовича, весной 18-го года вытолкнула маленькую семью Айзенман из лона семейства Бари. Справедливости ради надо заметить, что характер у бабушки моей был не простой. Судя по ее дневникам и по переписке с сестрами, была моя бабушка человеком не гибким, к компромиссам не склонным, не всегда снисходительным к окружающим.

В тяжкие времена, притом что бабушка была на четвертом месяце беременности (ожидалось рождение моего отца), пришлось покинуть фамильное гнездо. Бабушка с дедушкой растерялись. Непрактичные, в борьбе с житейскими бурями еще не закаленные, они согласились на первое попавшееся жилье, и на всю оставшуюся жизнь поселились в темной и сырой квартире в Мансуровском переулке. Квартира эта стала родной для всех нас, а тетушка моя прожила в ней долгие (вдобавок к тем четырем годам, что провела в Архангельском переулке) семьдесят пять лет.

В Мансуровском дедушка с бабушкой окунулись в совсем иную жизнь, чем та, которой жили прежде. Приблизительную картину ее могут дать несколько реальных текстов.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящим Д./К. удостоверяю, что у гражд. Семени Борисовича Айзенмана, проживающего в д. № 5 по Мансуровскому пер., в кв. № 2, родился сын, которому около 1 ½ м-ца.

Выдано на предмет получения продовольственной, хлебной, керосиновой и детской продовольственной карточки.

За председателя — подпись

Секретарь — подпись
Печать: Домовый Комитет д. № 5 по Мансуровскому пер. 1-го Пречистен. Комиссариата.

Домовый Комитет № 155
д. № 5 по Мансуровскому пер. 1-го Пречистен. Комиссариата.
Д./К. 3 155 по Мансуровскому п. д.5 Пречистенск. Комис. № 46.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее удостоверение выдано Семену Борисовичу Айзенману, проживающему Пречистенского Ком. по Мансуровскому пер. д. 5, кв. 2, в том, что он имеет двух малолетних детей — 6 мес. и 4-х лет, — и нуждается в керосине для быстрого согревания воды, молока и другой пищи.

Марта 16 дня 1919 г.

За Председателя Д.К. — подпись



Семья Айзенман в Геленджике. 1927

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее удостоверение выдано Татьяне Семеновне Айзенман 5-ти лет в том, что она пользовалась моим лечением вследствие нарывов на ногах (характера impetigo), полученных из-за отсутствия у нее крепкой обуви, что обусловило промачивание и остуживание ног.

Нарывы и в настоящее время не прошли еще. Для полного излечения и устранения возможности повторения болезни Татьяна Айзенман нуждается в крепкой и теплой обуви.

1.IX.19 Врач В.Всесвятский

Печать: Московский Губернский Совет Р. и Кр. Д.

Рукавишниковская лечебница

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО МОЕГО ДЕДУШКИ
МАТЕРИ КЛАРЕ МИХАЙЛОВНЕ И СЕСТРЕ МАРИИ БОРИСОВНЕ
В АРМАВИР

21 марта/3 апреля 1919 г.

Дорогие мама и Маня!

Не знаю, дойдет ли до вас это мое письмо. Но хочется хотя бы дать вам о себе весть, если нельзя получить и о вас. Может быть, и дойдет.

Жить нам очень трудно. Но, напрягая все физические, душевные и денежные силы и средства, нам удается пока весьма быть здоровыми. Таня даже удивляет всех своим здоровым видом (красныя щеки). Алеша тоже здоровый мальчик. Сегодня ему исполнилось семь месяцев. Он особенно трогателен своей приветливостью и веселостью. Мы очень часто вспоминаем вас и именно в связи с детьми. Жалеем, что вы их не видите. А мы с Олей очень устали и физически и морально. Хотя у нас есть одна прислуга, но работы так много (добывание продуктов), что нам приходится без усталости работать.

Планов на будущее не имеем, живем сегодняшним днем. Очень хотелось бы знать, что с вами. Здоровы ли.

Я продолжаю служить в Центротекстиль. Жалованья получаю 1360 р. в месяц, а на днях оно будет увеличено до 1750 или даже до 2-х тыс. Но мука стоит 1200–1400 руб. пуд, фунт коины 14–17 руб., масло 110–150 руб. фунт. Вот тут и живи. Продаем понемногу вещи, а теперь должны будем особенно усиленно этим заняться, так как кроме моего жалованья и продажи вещей впредь никаких доходов не предвидится.

Очень боялись мы холода в эту зиму. Но, закрыв и почти не отапливая две из пяти наших комнат, мы протопились кое-чем, и хватит дров и до лета. Но по временам очень зябли. По утрам бывало + 6 градусов. Но потом стали больше топить, и стало теплее. К счастью, одна комната, в которой у нас детская, значительно теплее других и вообще удовлетворительна по температуре.

О многом бы хотелось и рассказать и расспросить, но всего не скажешь...

НЕОТПРАВЛЕННОЕ БАБУШКИНО ПИСЬМО СЕСТРЕ БИБЕ
В КАЗАНЬ

Москва 28 (15) мая 1920 г.

Дорогая моя Бибочка! Как давно ты мне не писала. Кажется, больше чем 2 месяца... Соскучилась я по Тебе. Как давно это было, когда мы с Тобой виделись... Идут годы и такие тяжелые, а мы вдали друг от друга и так редко обмениваемся письмами. Переживаем такую тяжкую жизнь и даже не можем поделиться друг с другом своими переживаниями. Скоро совсем старые станем от этой жизни...

У меня все по-прежнему мало времени и много дела, потому не писала давно. Меня связывают дети, т.е. Алеша. Его нельзя сейчас ни на минуту оставить одного. Вот неделя, как его выпустили из детской, он бегают и по другим комнатам, падает и ушибается. Он живой и капризный. Оба томятся в комнатах, а выходим — самое большее на 1½–2 часа на бульвар. В жару, когда полный разгар лета, — конечно, это тяжело. А вопрос с дачей у нас все еще в зачаточном состоянии. Ехать надо, — слишком у нас плоха квартира, сырая, тесная, грязная; ни сада, ни двора.

Продажа вещей идет плохо. Дров нет и видов на другую квартиру на зиму тоже нет. Получили, наконец, вести из Армавира. Слава Богу они там здоровы и благополучны, хотя и пережили очень много. Город 5 раз переходил из рук в руки, бои

шли в самом городе; много было у них трудного, но все же сейчас, да и раньше у них сытнее и лучше, чем здесь. Они радуются приходу советской власти, так как «слишком уж досадила всем добармия». Зовут нас приехать. Но мы, не смотря на самое горячее желание вырваться, видим, что делать этого нельзя. Отовсюду приходится слышать, что хуже всего тем, кто оторвался от своего дома, где бы он ни был...

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО БАБУШКИ
ДЕДУШКИНЫМ РОДНЫМ В АРМАВИР

Милые мама и Маня! Получили ваше письмо с оказией. Не писала я — потому, что никогда не имею времени. Всегда усталая, всегда спешка, недосыпание и пр. Едва ли вы в состоянии представить себе нашу жизнь. Это не жизнь, а лишь существование с постоянными заботами и усилиями не потонуть, продержаться, как-нибудь насытиться. Тяжело писать о нашей жизни! Не хочется жаловаться, а между тем, что можно написать утешительного?! Разве только то, что у нас не было сыпного тифа, нас не обокрали, Семен ни разу не был арестован... Да, писать трудно. Не хочется вас огорчать описанием нашего существования... Мы, как две замученные лошади, везем-везем тяжести без отдыха и без надежды на отдых; правда, везем в ногу, вместе, дружно, — но радости такая непосильная, трудная, тревожная, угнетающая жизнь не может дать. Боюсь, что скоро притупятся в нас последние чувства и мысли. И сейчас мы — незнаваемы, — и внешне и внутренне...

Думаю, что вы понятия не имеете о нашей жизни, если спрашиваете о книгах, общественной деятельности и т.п. Не только не видели ни одной книги, но и не знаем, есть ли, появились ли они. Наша жизнь — это жизнь чернорабочих, ничего общего не имеющая с жизнью культурных людей. Мечты не идут дальше того, чтобы поесть, помыться, одеться, согреться и выспаться. Увы, все это осуществляется редко и в малой степени. — Теперь утешением является то, что мы на даче. У нас лето, и лето жаркое. Мы отдыхаем от сырости, мокрых плесневелых стен и холода и моемся и носим на себе легкие одежды... Ну, а в остальном плохо: голод, и заботы, и безденежье, и страх за будущее и всякие уплотнения и пр. Едим мы плохо. Каждый день то же: картошка, пшенная каша и какой-нибудь суп. Днем суп и картошка, к ужину каша и молоко к ней. И какими трудами добывается эта картошка, это пшено, и молоко! — Семен приезжает на дачу только по воскресеньям и всегда нагруженный тяжестями, измученный до последней степени. Про него могу сказать, что он в этой жизни — герой. Работает отчаянно много, ходит по Москве громадные концы и, конечно, всегда недоедая. Кроме того, обязанности «председателя» домового комитета предполагают в себе обязанности дворника, рассыльного и т.д., так что и это он должен исполнять... И он никогда не жалуется. — Ну, а я не героиня, нет! Я постоянно плачу от этой жизни и часто теряю последнее мужество и охоту жить. Давным-давно забыты и рояль, и живопись, и книги. Даже вспомнить странно, что все это было когда-то моей жизнью. Книг я не видала года 2 (очень многие из наших продали; особенно художественные издания), а газета меня интересует только как обертка и для надобностей Алешки!..

Можно ли еще долго прожить такую жизнь?! Возможно, что да, но, конечно, подобно тому, как высохли и потухли наши лица, высохнут и потухнут наши чувства и мысли...

Все тяжело и невесело. Однако сыпным тифом не болели, обокражены не были, дедушку арестовали лишь однажды и наутро, после ночи, проведенной на Лубянке, отпустили восвояси. Более того, имелась прислуга и ездили на дачу. С трудом, но что-то продавали! А самое главное — все тяготы жизненные преодолевали в ногу, вместе, дружно.

К тому же от разного рода реквизиций семью спасали охранные грамоты, вроде нижеследующей, сохранившейся в семейном архиве:

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ-
ЖИВОПИСЦЕВ В МОСКВЕ «СОЖИВ»»

Гранатный переулок 2 кв. 20 № 1247 29 октября 1918 г.

ОХРАННЫЙ ЛИСТ

На основании удостоверения за № 5165 от 24 августа 1918 года, выданного Профессиональному Союзу художников-

живописцев Москвы Народным комиссаром по просвещению А.В.Луначарским, Союз удостоверяет, что драпировки, ткани, ковры, костюмы, фарфор и прочие предметы и аксессуары для живописи в мастерской художника Бари-Айзенман Остоженка Мансуровский пер. д. 5 кв. 2 реквизиции не подлежат.

Председатель Совета Игнатий Нивинский
Действительна до 1 января 1919 года».

Уплотнения бабушка боялась не зря. В начале 20-х настала тягостная, так никогда и не закончившаяся, коммунальная эра. Хотя встречались коммуналки и похлеще нашей. Наша-то была более или менее вегетарианской. Кстати говоря, давно уже пришла пора создания коммунальной антологии, пока еще живы участники и очевидцы, пока дети и внуки хранят семейно-коммунальные апокрифы. Ведь опыт такого рода (в каждом отдельном случае уникальный) имеется у одних только советских граждан.

Как бы то ни было, но годы Гражданской войны и «военного коммунизма» прожили, наступил неп. К этому времени бабушка нащупала свою нишу — организовала детскую группу, поначалу широкого профиля, о чем упоминает Евгений Пастернак в комментариях к переписке родителей в книге «Существованья ткань сквозная»: «Какое-то время меня водили в группу художницы и дедушкиной ученицы Ольги Александровны Бари, где занимались ритмикой и рисованием, водили гулять на скверы у Храма, чем-то кормили».

Позже группы бабушкины стали исключительно рисовальными и, судя по сохранившимся спискам учеников, многочисленными. Несмотря ни на что, московская интеллигенция продолжала учить своих детей не только насущному. И бабушка с дедушкой старались устроить папино и Танино детство по образу и подобию собственного. Устраивали утренники и вечера, ставили всамделишные спектакли с костюмами, декорациями, программками и зрителями. Автором стихотворных пьес неизменно бывал дедушка. Актерами — дети друзей, бабушкины ученики, кузины и кузены.

Сохранилась книжечка, в которой бабушка записывала все «культурные мероприятия», в которых принимали участие члены семьи в течение десяти сезонов, с 29-го по 39-й год. Недели не проходило без выхода в концерт, на поэтический вечер или в театр. Приоритет принадлежал фортепьянным концертам. Записная книжечка эта не просто ценный документ, это увлекательное и напряженное чтение. По бабушкиным записям можно реконструировать целую эпоху культурной жизни Москвы. А если представить себе, на какие годы пришлась эта эпоха, каков был фон, каково душевное напряжение граждан, что происходило в стране и что претерпевали люди на этом временном отрезке, еженедельные эти записи обретают едва ли не драматическое звучание.

Спасали семью летние месяцы. Бабушка с дедушкой научили детей наслаждаться природой, насыщаться красотой ее и силой. Даже мне, родившейся спустя десятилетия, канувшие в вечность летние сезоны 20-х–30-х годов, прожитые нашими на Волге — в Нижнем Усломе и Бахчисарае; на Черном

море — в Геленджике, Архипосиповке, Феодосии; в Мценске, в Тарусе, в Ейске, видятся издали не забытыми и безликими, а яркими и вполне конкретными. И не только потому, что живы чудесные бабушкины альбомы (зимой бабушка почти не рисовала, зато летом погружалась в эту стихию с головой), но и благодаря рассказам и ярким воспоминаниям, десятилетиями сохранявшимся в семье.

Кстати говоря, у времени, в обтянутых серым холстом и сшитых из бумаги разных оттенков серого и палевого цветов бабушкиных альбомчиках, своя собственная драматургия. Купив у «Мюра и Мерилиза» (или же в магазине Дациаро на Мясницкой) аппетитные эти изделия в спокойные, благополучные времена, бабушка бумагу не экономила, не заполняла изображением все страницы подряд, а выбирала для очередного рисунка фон подходящего оттенка. А когда времена переменялись и на долгие десятилетия наступил бумажный дефицит, бабушка продолжала рисовать в тех же самых альбомчиках.

В результате чего время в бабушкиных альбомах то ли растянулось, то ли уплотнилось, сразу и не скажешь. Вслед за наброском или датированным одним из девятидесятих или десятых годов, следует пастель сорок шестого года, за сорок шестым — карандашный рисунок двадцать девятого или акварель тридцать четвертого. Художник то стар, то снова молод, то он на склоне лет, то в апофеозе зрелости, диаметрально противоположные его жизни и состояния души. Сложные и сильные чувства возникают у человека, перелистывающего не страницу за страницей, но эпоху за эпохой. А если человек этот внучка или правнучка художника?

Оказавшись летом 27-го года в Геленджике, бабушка писала письма давнему своему другу и вечному корреспонденту Павлу Давыдовичу Эттингеру. Отрывок из ее письма привожу благодаря тому, что перечитала толстую их пачку, хранящуюся в архиве Эттингера в ГМИИ им. А.С.Пушкина (переписка бабушки и Павла Давыдовича длилась более сорока лет). Бабушка писала: «...а пока скажу, что я счастлива и часто мне не верится, что это действительно “я”. Какое наслаждение жить у моря! Вечное солнце, веселое, радостное...»

Судя по папиным рассказам, до войны в доме нашем бывали гости. Не только сохранившиеся, не канувшие во времени и пространстве давние друзья бабушки и дедушки, но и молодежь. Часто приходили жившие неподалеку, на Остоженке, Эмик Гроссман, красавец и фортепьянный лауреат, и сестра его Эмма. Эмик играл на бабушкином рояле, прекрасном инструменте, не экспропрированном в свое время благодаря одной из охранных грамот. Вот такой:

Р. С. Ф. С. Р.

Комиссия по учету и распределению музыкальных инструментов при Отделе Народного Образов.

М. С. Р. Кр. и Кр. Д.
№ 20071.

8 Марта дня 1921 г.
МОСКВА.

Петровка, 2, бывш. Голофт. пасс.
Тел. 48 46, 1 24-20



Ольга Александровна Бари-Айзенман. Быково. 1916

ВРЕМЕННОЕ ОХРАННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Музыкальный инструмент Рояль № 107313.

фирмы Бехштейн

принадлежащий Айзенман (Бари) Ольга Александр.

находящийся Остоженка Мансуровский пер. д. 5. кв. 2. состоит на учете в Комиссии по учету и распределению Музыкальных инструментов и согласно постанов. Президиума Моск. Совдепа от 5/ХІ — 20 г. никакими другими учреждениями кроме Комиссии не может быть реквизирован и без разрешения Комиссии не может быть перевозим в другое помещение.

Настоящее охранное свидетельство имеет силу в течение 2-х месяцев со дня его выдачи.

Председатель Комиссии (подпись неразборчива)

Секретарь Погоржельский

Заходил Кирилл Кондрашин, Танин одноклассник и будущий дирижер, читал вслух только что изданные «Двенадцать стульев». Забегали кузены и кузины, навещали бабушкины ученики разных призывов, бывали Танины друзья и подруги, папины товарищи — молодые художники, студенты училища памяти 1905 года.

Годы спустя, в 52-м году, Танина подруга с подростковых еще времен, с музейного искусствоведческого кружка, Валя Старикова, волею судьбы поселившаяся навеки в далеком Хабаровске, писала бабушке: «Дорогая Ольга Александровна! За последний год я окунулась здесь во мрак, такой холод и голод духовный, а подчас и физический, что Вы, Ваш дом кажется каким-то лучезарным воспоминанием из жизни великих людей. Поэзии каждого Вашего дня здесь вполне хватило бы на год».

Два последних лета своей жизни бабушка с дедушкой провели в Звенигороде. Таня сняла для отца и матери дачу на Городке, на высоком берегу Москвы-реки. По выходным дедушка навещал бабушку, а в будние дни писал письма — о делах текущих и о жизни вообще: «...мы с тобой, как Филимон и Бавкида, гармонично едим кашу с молоком и картошку с салатом и созерцаем без конца ни с чем не сравнимый вид на замоскворецкие дали, подаренные нам нашей доброй дочерью. Жизнь наша была безоблачна даже при самом большом сгущении облаков (бывало, что значительно “выше среднего”) и при ветрах западном и других...»

Рисовала бабушка до тех пор, пока что-то видела. Последние ее пастели — розовые лесные тропинки и голубые небесные просветы среди оранжевых звенигородских сосен. Последняя ее фотография, за полгода до смерти, сделана мальчиком Сашей Дорошевичем (сыном подруги всей Таниной жизни — Клары Петровны Полонской). Бабушка, сидящая в кресле на фоне звенигородских сосен, такая же фотогеничная, как и отец ее красавец Александр Бари, выглядит на фото замечательно. Бабушкино лицо светится юмором, ясно, что отношение ее к юному фотографу самое доброе. На последней фотографии бабушка на целую вечность старше своих изображений на роскошных римских фото начала девятисотых годов, но ничуть от этого не проигрывает.

Да, рисовала бабушка до последней физической возможности, несмотря на катастрофически исчезающее зрение. Но за два с половиной года до смерти ей пришлось пережить гадость, оценить которую по достоинству трудно человеку, не жившему в то благословенное время.

В конце войны бабушка, по не известным мне причинам не сделавшая этого прежде, вступила в Московский союз художников (МОССХ). Необходимо было обрести статус, позволявший изменить категорию продовольственных карточек (бабушка получала карточку иждивенческую, а членам творческих союзов полагалась рабочая). Среди семейного хлама сохранилась и такая бумагоконка:

Р.С.Ф.С.Р.

МОСКОВСКИЙ СОЮЗ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Москва 1, Ермолаевский пер., № 17. Телефоны Д-1-45-36,

Д-3-17-41, Д-1-51-19, главная бухгалтерия Д-1-51-19

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее удостоверение выдано художнику БАРИ-АЙЗЕНМАН Ольге Александровне в том, что она состоит членом

Московского Союза советских художников по живописной секции с 20-го апреля 1945 года.

Членский билет № 1429.

Выдано взамен членского билета.

Председатель Правления Московского Союза Художников

Народный художник СССР С.Герасимов

Управляющий делами М.Шахунянц

И вроде бы дела ее московские шли неплохо — в 47-м году, в дни пышно празднования восьмисотлетия Москвы, бабушке даже предоставили на Тверской улице витрину, в которой она смогла выставить свои работы. Как вдруг, через пять с половиной лет, в октябре 51-го года, в самый разгар борьбы с космополитизмом, бабушка получила извещение. Вернее, огрызок бумажного листка, третью или четвертую бледную машинописную копию. Бабушкины имя и отчество в документе этом вписаны от руки фиолетовыми чернилами. В это время бабушке шел семьдесят третий год.

«Уважаемый товарищ Ольга Александровна.

Извещаем Вас, что при утверждении состава Московского Союза советских художников Оргкомитетом ССХ СССР, Вы не утверждены членом МОССХ и отчислены из состава Союза в соответствии с разделом 4-ым Устава МОССХ.

Основание: Постановление Секретариата Оргкомитета ССХ СССР,

протокол № от 12/Х 1951 г.

Президиум МОССХ».

Судя по копирке, такие же оплеухи получили в те дни многие художники. Отчасти представляя себе то время, уверена, что для большинства жертв борьбы с космополитизмом потеря московского статуса стала настоящей бедой, а для кого-то, возможно, и катастрофой.

С бабушкой Ольгой Александровной и дедушкой Семеном Борисовичем мы ненадолго пересеклись в этой жизни, и я кое-что о них помню. Например, увлекательные дедушкины импровизации про мальчиков Колю и Васю и про подружек их Кланю и Мотаню. И бабушкины рассказы про то, как «мы с Бибочкой были маленькие» и как «Таня с Алешей были маленькими». Я усаживалась на низенькую корявую скамеечку у бабушкиных ног и выслушивала очередную историю. Например, о том, как ко дню рождения «папочки» (прадеда Александра Вениаминовича) шестилетняя Биба решила выучить трехлетнюю Лелю грамоте. А для того чтобы вышел сюрприз, учились под столом, занавешенным до самого пола скатертью. И в день рождения отца, а именно 6 мая 1882 года, бабушка вышла на середину комнаты и совершенно свободно, не по слогам, прочла целую страницу.

Но больше доисторических приключений бабушки и ее старшей сестры меня интересовали более близкие и понятные истории из папиной и Таниной жизни. Про то, как летом на даче восьмилетний Алеша каждое утро отправлялся к молочнице. Молоко наливали в крынку, обливную, коричневую, с ручкой и длинным полосатым горлом. Однажды Алеша шел лугом, распевал песню, любовался небом («небесные спектакли» всю жизнь были любимым папиным зрелищем), размахивал крынкой, не заметил привязанного к кольшку телянка, столкнулся с ним на полном ходу, и кусочек крыночного горлышка откололся. Я горячо жалела телянку и тут же рассматривала ущерб, причиненный крынке давним столкновением папы-мальчика с мальчиком-бычком. Потому что красивая полосатая крынка все еще жила в доме, более того, она прочно вошла в наш обиход и стала равноправным членом семейного натюрмортного фонда. Все бабушкины и папины ученики, и я, а спустя годы и моя дочь множество раз рисовали и писали эту крынку.

А еще бабушка рассказывала про то, как четырехлетняя Таня в день своего рождения оказалась в прекрасном, полном цветов саду. И хозяйка сада разрешила Тане рвать все цветы, в любом количестве, и собрать себе в подарок букет из всего, что ей понравится. Таня пришла в восторг, долго бродила по саду и собрала небольшой букет, поразивший гостей и хозяев чувством меры и изысканностью. Из всего садового разноцветья Таня выбрала одни только сиреневые и лиловые цветы разных оттенков.



*Супруги Фарбштейн, К.М.Фарбштейн-Айзенман, Мария Айзенман.
Ялта. 1890-е годы. Фото С.Айзенмана*



М.Б.Айзенман. Ялта. 1900-е годы



*М.Б.Айзенман-Ферлиевич с Димой,
внуком Е.Х.Аксентовой.
Армавир. Конец 1930-х годов*

И тем же летом, в конце его (по старому стилю) или в самом начале осени (если по новому), когда Таня снова гуляла в саду, к ней подошел мой молодой еще дедушка, протянул большую шоколадку и произнес значительно и очень торжественно: «Поздравляю тебя, Таня, сегодня у тебя родился брат! Теперь ты старшая сестра». Брат родился 3 сентября в подмосковном Быкове, на даче. Традиции еще были живы, и роды принимала семейная акушерка. А откуда в восемнадцатом году взялась шоколадка, этого я не знаю, тоже, наверное, из прежнего времени. Я заказывала бабушке сюжет, она рассказывала историю и смотрела на меня так же пристально и с тем же юмором, как смотрит с фотографии, сделанной летом 53-го года мальчиком Сашей Дорошевичем.

Удивительный букет, собранный Таней в самом начале жизни, явственно просигналил не только о прекрасном ее вкусе, но и о будущем предназначении. Если родившийся тем давним летом брат стал художником, то старшая его сестра, тетюшка моя Татьяна, выбрала в качестве жизненной стези искусствование. Личностью своей Таня увлекала, сама страстно увлекалась людьми и умела самозабвенно дружить. Ярким, оригинальным,



Т.С. Айзенман. Москва. 1954. Фото В.Костина

сложным человеком была наша Таня. При маленьком росте и прелестной внешности, увенчанная золотистым облачком вьющихся волос, походкой тетюшка моя обладала мужской и лишена была таких необходимых для благополучного прожития женской жизни качеств, как гибкость и способность к компромиссу. Она не задумываясь вступала в споры и всегда готова была к противостоянию. Кажется, что и сама временами досадовала на отсутствие в характере одних качеств и наличие других. Несомненно одно — тетюшка моя, Таня, была Личностью!

Характер человека — его судьба. Главным в Таниной жизни, а значит — и в судьбе, было творчество, работа. Все остальное существовало на задворках. Блестящий Танин ум рождал идеи, совершал открытия и находки. Но пробивать блистательные свои озарения, извлекать практическую пользу, добиваться материального, социального эквивалента Таня сначала не умела, а потом и не хотела. Попытки поступить в аспирантуру и защитить диссертацию (Таня была гордостью педагога своего профессора Натальи Николаевны Коваленской) успехом не увенчались. Неудачные для подобной задумки времена стояли на дворе.

Сохранилось письмо, в котором изложена история единственной Таниной попытки осуществить общепринятую карьеру, письмо, написанное в поисках справедливости самому товарищу Сталину еще в октябре 44-го года. Цитировать письмо вождю целиком не вижу смысла, хотя сам по себе жанр «письма товарищу Сталину» достаточно интересен. Привожу только выдержку, в которой изложено простодушное Танино предположение: «Одновременно со мной были отклонены Наркомпросом — без каких бы то ни было причин — еще пять кандидатов в аспирантуру филологического факультета, как и я, отличники, выдвигавшиеся кафедрами, деканатом и ректоратом. Ввиду того, что все они, как и я, евреи, возникает предположение, что именно это и является причиной отказа».

К счастью для семьи, отослано письмо не было, так и пролежало более полувека вложенным в пожелтевший конверт, до тех пор, пока не попало в мои руки. Ну а после войны наступили времена еще более жесткие в том самом смысле, о котором писала Таня своему предполагаемому защитнику. Но невзирая на разного рода пакости, Таня все-таки состоялась как яркая творческая личность, тонкий знаток искусства в широком смысле этого слова и автор удивительных исследований в области искусства народного. Имя ее высоко ценится среди специалистов. Вот что написала о нашей Тане искусствовед и многолетний ее друг Елена Борисовна Мурина,

предваряя публикацию статьи «О художественном пространстве в народном искусстве» (Вопросы искусствознания, 4/93. М., 1994. С. 286), вышедшей, увы, через полгода после Таниной смерти:

«Речь идет о личности крупной и даровитой, но закрытой, далекой от “общественности”, или, как она любила говорить, от “ярмарки тщеславия”, нашедшей смысл существования в одиноком искусстве-познании. Именно “познание” искусства, а не “знание” было сокровенным смыслом ее постоянных размышлений и точкой приложения всех ее исканий, в том числе и проблем самопознания и духовной жизни. <...> Искусство

всегда имело для Т.С. приоритетное значение. И каковы бы ни были перипетии ее далеко не благополучного профессионального пути (в 1939 году она окончила искусствоведческое отделение МИФЛИ), она всегда выбирала, не колеблясь, Искусство, а не соблазны внешнего успеха. Несмотря на то, что ее выдающиеся способности остались невосребованными, а сама она, как и все ее поколение, была не только свидетелем, но и объектом перманентных идеологических кампаний, мне бы не хотелось говорить о “трудной судьбе” Т.С. Она с достоинством и мужеством

принимала все испытания, выпавшие на долю гуманитариев ее склада и убеждений. Более того, Т.С. считала себя “удачницей”, так как прошла свой путь, не запятнав совести и не сломившись. И когда пришло время, оказавшееся для многих ее сверстников крушением “идеалов”, она бодро и во всеоружии наперстала упущенное, обрета признание в изучении народного и самодеятельного искусства. Вспоминаю, с какой самоотверженностью, на свои жалкие гроши, она ринулась в поездки по стране, осваивая мир народного искусства не по музейным образцам, а в живом общении с мастерами немногих сохранившихся промыслов. Ее книги — «Художники Полховского Майдана и Крутца» <«Советский художник». М., 1972>, «Народное искусство и его проблемы» <«Советский художник». М., 1977> — при глубине и новизне поставленных автором проблем получили подпитку из самой жизненной стихии, формирующей это искусство... Привычному представлению о народном искусстве Т.С. противопоставила свою оригинальную концепцию, рассмотрев различные виды народного искусства из разных регионов страны как “проявление духовной жизни народа”».

И действительно, немолодая уже Таня с катастрофическим своим зрением отважно пускалась в дальние одинокие экспедиции: в Дагестан, в коми-пермяцкую глушь, в российскую глубинку. Находила сюжет, погружалась в него, раздвигала видимые его границы, вникала в суть не как узкий специалист, а как оригинальный мыслитель, которым обещала стать еще в юности и стала.

Некогда на форзаце книги «Второе рождение» Борис Леонидович Пастернак написал: «Дорогой Тане с очень теплым чувством и сожалением, что у меня нет книги более достойной, в надежде когда-нибудь поправить эту оплошность.

Верю в Вас. Б. Пастернак 12.IX.32».

А через тридцать четыре года Анна Андреевна Ахматова сделала надпись на титуле только что вышедшего долгожданного томика «Бег времени»: «Милому другу Тане Айзенман с любовью Ахматова. 17 января 1966 Москва».

Знакомство с Ахматовой произошло в начале 1956 года, в доме Ардовых на Ордынке, переросло, как явствует из вышеприведенной дарственной надписи, в дружбу, длившуюся до конца жизни Анны Андреевны. Познакомила Таню с Ахматовой приятельница тех лет, блестящая женщина с необычной судьбой, «харбинка», писательница Наталья Иосифовна Ильина.

Ахматова скончалась 5 марта 1966 года. И в одной из самых последних больничных ее записей от 14 февраля две строки о Тане: «...Просят дать статью о Шостаковиче. Я — о музыке?»



*Н.П.Крымов с учениками. В верхнем ряду, 6-й слева, А.С.Айзенман.
Художественное училище памяти 1905 года. Москва. 1930-е годы*



*И.Ф.Дасковская и А.С.Айзенман.
Москва. Май 1948*



*А.С.Айзенман.
Москва. 1970-е годы*

Забавно... Поговорю с Т<аней> А<йзенман>. Может быть несколько человеческих слов. Как раз сейчас передают по радио "1905" Дмитрия Дмитриевича» (Ахматова А. Записные книжки. М.; Турин, 1996. С. 710; М.: Радуга, 1991). Танино имя встречается и в «Записках об Анне Ахматовой» Л.К. Чуковской. Одно из упоминаний связано с нашей семейной реликвией — Библией на французском языке, единственным предметом, оставшимся в семье от сестры моего деда, Марии Борисовны Айзенман, в замужестве Ферлиевич. Титульный лист этой Книги гласит:

LA SAINTE BIBLE
OU L'ANCIEN ET LE NOUVEAU TESTAMENT
VERSION DE J.F. OSTERVOLD
NOUVELLE EDITION REVUE
Paris: Rue de Clichy, 58
Bruxelles: Rue de la Pepinier, 5
1890

На обороте форзаца дарственная надпись. Не уместившись на одной странице, она заняла еще и второй форзац. Теперь уж не узнать, кем приходился нашей семье И.Фрид, автор этого посвящения-напутствия. Судя по тексту, был он близким другом, а может быть даже — и родственником нашим.

Маленькую Библию в тисненном кожаном переплете подарили Мане Айзенман в 1892 году, в родном ее городе Ялте, когда девочке было лет десять-двенадцать, не более. Вот что написано на обороте форзаца:

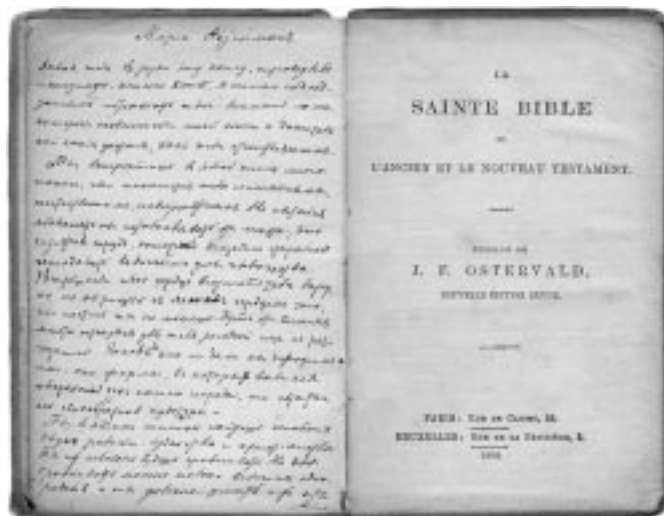
«Давая тебе в руки эту книгу, справедливо именуемую "книгою книг", я считаю себя обязанным обратить твоё внимание на некоторые особенности этой книги и дать тебе кой-какие указания, как тебе относиться к ним.

Ты встретишь в этой книге много такого, что покажется тебе непонятным, неестественным, невероятным. Не пытайся объяснять или истолковывать те места, это сизифов труд, который тщетно старались преодолеть величайшие умы человечества. Верь — если твоё сердце внушит тебе веру, но не отрицай с легким сердцем того, что постичь ты не можешь. Пусть эти темные места останутся для тебя загадкой еще не разгаданной. Каковы бы они ни были, мы дорожим ими: они формы, в которые вылился творческий дух нашего народа, они остаток его своеобразной культуры.

Ты в этом томике найдешь основания двух религий: иудаизма и христианства. Ты их невольно будешь сравнивать. Но сравнивать можно только величины однородные и ты должна уметь их отыскивать. Чтобы не быть введенной в заблуждение, ты это должна сделать сама. Избегай готовых формул, сравнений, сделанных другими, даже признанными авторитетами, ибо и они не свободны от пристрастия, от склонности предпочитать свое чужому. Проверяй все сноски и цитаты, они часто неверны, и трудно решить, плохо ли они истолкованы или просто фальсифицированы. Не упускай из виду, что Ветхий Завет есть не только

нравственно-религиозный кодекс, но и свод гражданских и уголовных законов, Новый же Завет обнимает исключительно область религиозно-нравственную. Не сравнивай поэтому сентенций из этих двух редко совпадающих областей, что часто делается с тенденциозной целью возвысить одну религию в ущерб другой. Руководствуясь этими указаниями, ты не будешь осуждать, что осуждения не заслуживает, и не станешь увлекаться красивыми словами, не испытав, насколько они исполнены и насколько они вообще исполнимы. И.Фрид».

Шло время, Маня окончила гимназию, медицинский факультет, стала врачом-офтальмологом и много лет, до самой своей гибели, жила и работала в городе Армавире. В этом же городе Мария Борисовна встретила со своим мужем, пациентом туберкулезного санатория. Брак оказался недолгим, бездетным. Муж Марии Борисовны умер от своей болезни, и давно уже не у кого узнать, когда это случилось.



Автограф на обороте форзаца и титул Библии на французском языке

А сама Мария Борисовна погибла вместе со всеми евреями города Армавира 27 августа 1942 года. Расстреляли армавирских евреев в пригороде и погребены они в противотанковом рву. Сохранилось письмо Евы Христофоровны Аксентовой, друга и соседки Марии Борисовны, почти родственницы. Вроде бы была возможность сойти за члена этой армянской семьи, не выйти на казнь вместе с другими евреями. Но Мария Борисовна сделать этого не захотела.

И 6 апреля 1943 года пришла из Армавира в Москву телеграмма от Евы Христофоровны: «МАРИЯ БОРИСОВНА РАССТРЕЛЯНА НЕМЦАМИ».

А в начале лета получили письмо: «Уважаемый Семен Борисович! Марии Борисовны нет. Ее расстреляли немцы вместе с другими евреями. Немцы предложили зарегистрироваться всем евреям, а потом заставили носить на груди звезду. 27 VIII всем евреям с вещами было предложено собраться на окраине города около кирпичного завода, откуда якобы их должны были отправить на Украину в гетто. Мы ее проводили на кирпичный завод в 5 час. дня, там было уже много народу, начиная с грудного возраста и кончая глубокими стариками, с чемоданами, узлами и другим скарбом. Забраны были даже дети из детдомов. Когда на другое утро я опять пошла туда, то там уже никого не было — оставались только их



Реликвия семьи Айзенман — Библия на французском языке

вещи и немецкие солдаты, охранявшие эти вещи. Расстреляли их, как говорят, в противотанковом рву за Армавиром. Уходя, Мария Борисовна верила, да и мы тоже, что их действительно отправят на Украину, где они будут жить в гетто. Все, что можно было взять из мягких вещей, Мария Борисовна взяла с собой, а мебель и все остальное вплоть до картин, рисованных Ольгой Александровной и Алешей конфисковано "Гестапо".

Город наш, главным образом центр, вся промышленность разрушены немцами. В Армавире и прилегающих станицах нем-



Милой Жане
в день удачи
1959
16 апр.
Москва
А.А.Ахматова

1925 Уарикте - Село. Большой Дворец.

М.С.А
Мой стол
в будке
он
—
24 мав.
1964
Москва

Автограф А.А.Ахматовой на обороте фотографии 1925 года. Москва. 1959

Автограф А.А.Ахматовой на обороте фотографии. Москва. 1964

АННА АХМАТОВА

REQUIEM

1925-1940

1963
Москва

- 10 -

А если когда-нибудь в этой стране
Наклягуют забудут памятник мне,
Согласья на это дай торжеству,
Но только с условием - не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последней с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у забытого князя,
Где тыня безутешная жила жила,
А здесь, где стоял я треста часам
И где для меня не открыла вассов,
Знаем, что и в смерти близкой боюсь
Падеть гробовщица черных марусь,
Забить, как постигла ханжала дворя,
И была старуха, или равный дворь.
И пусть с излоданным и прозванным век,
Как слезы, ступает подтапывай омаг,
И голубь теремный пусть гуляет вдали,
И тихо адут во Бже страбам.

1940 март.
Белогородский Дом
Анна Ахматова

Автографы А.А.Ахматовой на самиздатском экземпляре поэмы «Реквием». Титул и последняя полоса. Москва. 1963

цы расстреляли в свое пребывание около 6 тысяч человек. Мы оставались в Армавире, так как эвакуироваться было невозможно.

Мы с Марией Борисовной сожгли нашу домовую книгу и ее паспорт, и таким образом казалось, что можно было бы скрыть ее еврейское происхождение, но в последний момент она передумала, зарегистрировалась, и вот какой ужасный незаслуженный конец. Данциги тоже погибли.

Потеря Марии Борисовны для меня так же тяжела, как и для Вас. Для меня она была близким и родным человеком. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что ее нет. Мне ее всегда не хватает. Мне очень одиноко и тоскливо без нее. Напишите мне о себе и Вашей семье. С приветом Е.Аксентова 21/V/43 Армавир, Халтурина 58».



Вот все, что известно о гибели Марии Борисовны. Одним словом, французская Библия единственный сохранившийся в семье предмет, принадлежавший некогда тете Мане. Маленький этот томик, как уже было сказано, наша семейная реликвия.

Во втором томе «Записок об Анне Ахматовой», в записи, датированной 25 июня 1960 года рассказано следующее: «...Я <Л.К.Чуковская. — О.В.> спросила, собраны ли у нее <А.А.Ахматовой, — О.В.> уже, наконец, дома все ее стихи. Все ли записаны? Тут последовал не монолог — взрыв.

— Записываю ли я свои стихи? И это спрашиваете вы — вы!

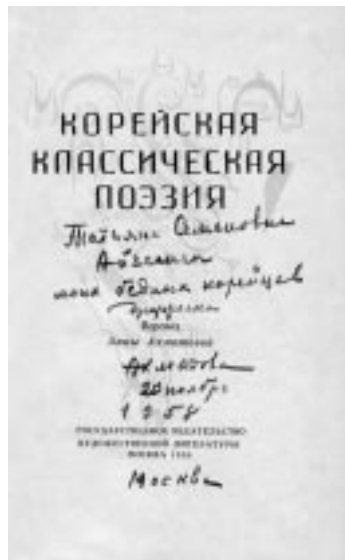
Она подошла к табуретке, на которой стоял чемоданчик, и с яростью принялась выкидывать оттуда на тахту рукописи, книги, тетради, папки, блокноты.

— Как я могу записывать? Как я могу хранить свои стихи? Бритвой взрезают переплеты тетрадей, книг! Вот, вот, поглядите! У папок обрывают тесемки! Я уже в состоянии представить коллекцию оборванных тесемок и выкорчеванных корешков. И здесь ТАК, и в Ленинграде — ТАК! Вот, вот!

(Она швыряла на стол тесемки и картонки. Господи, думалось мне, ну зачем выдерживать тесемки? Ведь их развязать можно.)

— Я попросила у Тани Айзенман французскую Библию — Эмме <Герштейн. — О.В.> понадобилась для Лермонтова — это вообще редкость, да к тому же семейная реликвия! И не успела передать ее Эмме, как сейчас же был взрезан переплет. Не знаю теперь, как Тане буду и в глаза глядеть...»

Корешок книги действительно наискось взрезан бритвой. Как поступить теперь, следует ли реставрировать книгу? Или пусть так и останется явным след происшествия, случившегося летом 1960 года с французской Библией, подаренной в 1892 году



Автограф А.А.Ахматовой на отдельном оттиске собственной статьи в сборнике «Пушкин. Исследования и материалы. Том II. М.: Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1958»

Автограф А.А.Ахматовой на книге переводов: «Корейская классическая поэзия. М.: ГИХЛ, 1958»

девочке Мане Айзенман и так огорчившего Анну Андреевну? Упомянутые в письме Евы Христофоровны Аксентовой друзья Марии Борисовны, Данциги, это родная тетка Лили Брик — музыкант Ида Юльевна (в девичестве Каган) и ее муж Киба Данциг. Мать Лили Брик, Елена Юльевна, эвакуированная

в начале войны к сестре в Армавир, скончалась 12 февраля 1942 года, за несколько месяцев до оккупации Северного Кавказа. Тетушке моей Ахматовой вручила долгожданный «Бег времени» собственноручно. Но не всем, кому хотела, успела раздать экземпляры книги. Остался перечень друзей, заслуживающих этого подарка. В списке сто фамилий. Тетушка моя в этом перечне под шестнадцатым номером. Следуя списку, пришел однажды к Тане молодой филолог Роман Тименчик, исследователь творчества Ахматовой, ныне профессор Иерусалимского университета. Тетушка подружилась с Ромой и с женой его Сусанной Чернобровой, художником и поэтом. Несколько лет назад Сусанна прислала мне книжечку своих стихов (Сусанна Черноброва. «На правах рукописи». Иерусалим, 1997) и в ней стихотворение, посвященное Тане.



Автограф А.А.Ахматовой на книге «Из шести книг. Стихотворения Анны Ахматовой. Л.: Советский писатель, 1940»

ПАМЯТИ Т.С.АЙЗЕНМАН

*Мне снилось, что Вы здесь, на расстояньи взгляда
И как теперь без Вас, где встретится во мле,
Остаться в редком дне, июльском снегопаде,
На скользкой и пустой, как палуба, земле.*

*Как осторожно жить, чтоб не разбить при споре
Хрустальные лучи последнего дождя,
Вдали среди ветвей из них соткалось море,
Деревья и костры, не плачьте, уходя.*

1993

А в девятом номере «Иерусалимского журнала» за 2001 год Сусанна опубликовала славные свои мемуары под названием «Вид на живопись». В тексте, написанном ею о Тане и о большом Танином друге художнице Александре Давыдовне Лукашевке, есть такие строки: «Когда мы собирались уезжать, дочь спросила меня: — А где ты найдешь таких людей, как Алечка и Татьяна Семеновна? — В то мгновение разлуки были единственным доводом не в пользу репатриации, а с ними обеими я уж точно прощалась навсегда. Приехав к нам в последний раз, Т.С. восприняла известие о нашем скором отъезде с горечью, и меня не покидает чувство вины».

В последние свои дни, погибая от острого лейкоза и теряя остатки зрения, Таня тратила заканчивающееся земное время на очередную «концепцию», как она шуточно именовала эту неуловимую субстанцию. Мозг ее бурлил, он был переполнен идеями. Таня торопилась их записать, рассказывала о них каждому, кто приходил ее навестить. Записи последних месяцев — не расшифровываемый ребус, древняя клинопись. Причина — чудовищный Танин почерк в сочетании с почти полной слепотой и катастрофическим физическим состоянием. Наши отношения с тетушкой на протяжении долгих лет складывались волнообразно: из пропастей запальчивости и обид мы взвивались к вершинам восторженной дружбы и взаимной увлеченности, бурного общения и любви. Мама всегда напоминала мне, что: во-первых — наша Таня человек редкого ума и таланта, а во-вторых — про катастрофическое Танино зрение и про то, что в любой момент она может ослепнуть, и за одно это ей многое можно простить.

И теперь остается только впасть в отчаяние, задумавшись о том, отчего, полжизни прожив рядом, во многом разминувшись, проглядели друг в друге главное, не отшелушили второстепенное, недооценили, прохлопали, отгородились стенами

взаимного непонимания, не поговорили... Можно ли было прожить жизнь иначе? Боюсь, что только гипотетически. Время, проведенное на этой земле совместно, а тем более годы, прожитые в одной квартире, могли и должны были бы быть плодотворнее и радостнее, но только в сослагательном наклонении. Закон (или правило) жизни — самых близких людей обыкновенно держат в черном теле. Двудликие (а может и многоликие) Янусы, мы лучшие свои лики от близких л ю д е й

отвращаем. И ничего тут не поделаешь, ведь не скажешь родному человеку: «Избушка, избушка, стань ко мне передом, а к лесу задом».

Одним словом, ушедшие ранее оказываются в выигрыше, задержавшимся на этом свете остаются сожаления и нечто вроде заезженной пленки, запечатлевшей невозвратные кадры. Воображаемую пленку эту до конца дней можно прокручивать от конца к началу и от начала к концу, но перемонтировать, увы, нельзя.

Если тетушка моя Татьяна стала искусствоведом, то жизнь брата ее, моего отца Алексея Семеновича Айзенмана, озарила живопись. Первой и главной удачей отца стала рано открывшаяся ему ослепительная красота окружающего мира. И хоть родился он не в самые пасторальные времена, родители вовремя открыли сыну сияющее это великолепие. Они научили сына не просто любить красоту Божьего мира и замечать ее повсюду, но и ликовать от этой красоты, и ежеминутно ощущать свою ей сопричастность.

Опасаясь, как бы жизненные реалии при пособничестве чудича по имени Быт не затмили, не закопчили этой красоты, как бы не сожрали сына и дочь с потрохами, родители воспитали детей в ощущении безусловного приоритета Духа. И сделали это с блеском. Пожалуй, что и перестарались. Естественно, монстры мстили, но до конца своих дней и отец мой и тетушка плевали на них, в повседневной жизни довольствовались малым, жили Искусством, Творчеством, Работой.

Родителям своим обязан мой отец главным — обретением удивительного мироощущения. Красота виделась ему во всем: в облачном небе, в мокром асфальте, в покореженном листе ржавого кровельного железа, в пятнах света и тени на покосившемся заборе (перечень объектов восхищения можно продолжать бесконечно).

Никакие беды, неурядицы, семейные и мировые катаклизмы не могли затмить красоты мира, заглушить звуки его и запахи. Самое гнусное и раздрыганное душевное состояние, любая, самая горькая обида меняли знак, стоило только отцу моему выйти на улицу, оглянуться окрест и увидеть небо, сияющее в просветах деревьев. Слова: «ЖИЗНЬ» и «ЖИВОПИСЬ» оказались синонимами. Отец надеялся на живопись, он опирался на нее. За неделю до конца, измученный болезнью, напутствовал ученицу: «Держитесь за живопись, живопись вам поможет!»

С детства сосредоточившись на живописи, в советской школе отец проучился всего год, в седьмом классе. Программу первых шести классов освоил в частной группе прекрасного педагога, давнего бабушкиного друга, Марии Николаевны Матвеевой. А по случаю поступления в седьмой класс получил в подарок книжечку под названием «Девятьсот пятый год» с напутствием: «Дорогому Алеше поздравительный подарок к дням его вступления в школу с пожеланиями счастливого плаванья и переплытия, от души Б.Пастернак». И успешно переплыв неширокое школьное пространство, отец поступил в изотехникум памяти все того же девятьсот пятого года.

В изотехникуме «имени памяти» опять повезло — на третьем курсе его отобрал в свою группу «станковистов» давно любимый художник, Николай Петрович Крымов. Слухи о Крымове жили в семье с давних пор, еще со времен «Голубой Розы», и после крымовской оценки студенческих папиных этюдов: «У вас в крови чувство пейзажа» — отец очутился на седьмом небе.



А.А.Ахматова. 1960-е годы

В Крымове-человеке обаяние сочеталось с желчностью, юмор с язвительностью, учителем он оказался требовательным, даже суровым, но отец боготворил его всю свою жизнь. Рассказывал: «Часто вижу сон, что я у Николая Петровича, что-то делаю для него, счастливое ощущение быть в его комнате».

Следующей жизненной удачей отца стала встреча с моей мамой, девушкой с удивительным именем Изольда. Детство и юность мамы, Изольды Фаустовны Дасковской, сложились драматически. Мой дед, Фауст Львович Дасковский, с самого начала двадцатых годов расплачивался за то, что до революции служил управляющим сахарным заводом Воскресенского. По этой-то причине он оказывался попеременно то в заключении, то в ссылке. И бабушка моя, Рахиль Исаковна Спивакова, с сыном и двумя дочерьми, младшей из которых была моя мама, перемещались вслед за мужем и отцом все дальше и дальше на Восток. Переезжая из города в город, за десять школьных лет маме моей пришлось сменить девять школ.

В шестнадцать лет она лишилась матери — измученная трагической своей жизнью, бабушка моя Рахиль Исаковна тяжело заболела и скончалась 29 января 1937 года. А ровно через год, день в день, расстреляли маминого отца, арестованного в очередной раз по статье 58-2-6-8-9-10-11 УК РСФСР. Произошло это в городе Томске 29 января 1938 года.

Маму вышвырнули из дома, имущество семьи конфисковали, и очутилась она в одиночестве (у брата с сестрой к этому времени образовались свои семьи и жили они отдельной жизнью). И все же, скитаясь по чужим углам, мама сумела окончить школу и курсы немецкого языка. А через два года приехала в Москву и, скрыв правду об отце, посту-



Автограф А.А.Ахматовой на книге «Бег времени». 1909–1965.

Л.: Советский писатель, 1965»

пила в Институт иностранных языков, воспользовавшись тем, что числилась некогда на иждивении матери, умершей своей смертью. Поселилась мама на Каляевской улице, в доме № 5. Приютили ее в своей семье родные люди — тетушка, Татьяна Исааковна Спивакова, и муж ее, Наум Наумович Зислин.

Встреча будущих моих родителей произошла, как и полагается такого рода встречам, неожиданно. Просто однажды, со всеми живописными причинами, папа явился в малознакомый дом, чтобы написать портрет ученицы своей сестры, обладательницы изумительного цвета лица и чудесных золотисто-рыжих кос. Заманчивой модели не оказалось дома, и дверь отворила ее кузина, в противоположность сестре бледная и черноволосая. Открыла в крошечной тьме, потому что электричество как раз отключили.

Несмотря на отсутствие света, отец все же разглядел его в конце тоннеля и мгновенно начал осаду, периодически сменяя ее атаками, поначалу не слишком удачными. Однако обстоятельства были на папиной стороне. Папа жил в полутора минутах ходьбы от маминого института. И куда бы он ни направлялся (к примеру, чинить примус), всякий раз оказывался у порога этого самого института. И стоило маме выйти на улицу, как в пределах видимости тут же обнаруживался папа, то с примусом, то с этюдником и холстом на подрамнике. Его любимыми пейзажными сюжетами стали те, что окружали Институт иностранных языков.

Папа был настойчив, и мама вышла за него замуж. Свадьбы не было, просто собрали вещички (набралось их всего-то полчемодана, да и то только те, что купили в складчину институтские подружки) и на троллейбусе «Б» минут за двадцать доехали до Зубовской площади, а оттуда не более семи минут до нашего Мансуровского переулка. Так что за полчаса мамина жизнь переменилась, и теперь ей стало рукой подать до института.

Сирота тридцать седьмого года, вдоволь поскитавшаяся по свету и повидавшая в жизни всякое, мама сходу включилась в нелегкую жизнь новой семьи, без труда освоила колючее квартирное пространство, приручила местных шариковых и отчасти цивилизовала зловещий быт. В ожидании моего рождения удалось даже выгородить отдельное помещение для жизни новообразовавшейся семьи. Не так-то это было просто, как может показаться из сегодняшнего дня. Вот парочка сохранившихся документов эпохи — фрагмент целой череды подобных:

СССР

Управление МВД по Московской области
Управление Ордена Трудового Красного Знамени
Пожарной Охраны
гор. Москвы
ИНСПЕКЦИЯ
Фрунзенского района

14 июля 1947 г.

№ 1198

Гражданину Айзенману С.Б. Мансуровский пер. д.5 кв.2

На Ваше заявление от 10/VI-47 г.

Инспекция Пожарной Охраны МВД Фрунзенского Района гор. Москвы сообщает, что против установки беспустотной оштукатуренной с двух сторон перегородки в вашей комнате с 20% остеклением в верхней части ее, согласно представленного плана, возражений не имеет, при условии устройства в этой перегородке двери и согласования с Межведомственной комиссией при Фрунзенском Райисполкоме.

Начальник ИПО МВД Фрунзенского Района г. Москвы

Капитан Никульченко

Инспектор ст. лейтенант Чистов

В Межведомственную Комиссию
при Исполкоме Фрунзенского р-на
гор. Москвы

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить мне произвести в одной из двух занимаемых моей семьей комнат следующую перестройку в интересах удобного размещения пяти членов моей семьи с учетом

пола и возраста.

I. В комнате размером 5.40×3.40 установить легкую перегородку, не доходящую до потолка (для нормальной циркуляции теплого и холодного воздуха) и с запасным проходом в перегородке на случай пожара.

II. В отделяемой перегородкой части комнаты, лишавшейся большей части дневного света, пробить в кирпичной стене, примыкающей к пустырю соседнего владения № 7, окно шириной 1 м и высотой 2 метра.

Заключения соответствующих организаций, копия поэтажного плана и схематический план при сем же.

Айзенман С.Б. 30-VII-1947

Малая жилищная эпопея эта завершилась успешно (а по тем временам триумфально), в сжатые сроки, в результате чего я родилась почти что в отдельной комнате, да к тому же с собственным окном.

Свободная от страсти к изобразительному искусству, не встречавшая в прежней жизни людей этого мира, приоритет живописи в жизни мужа мама, тем не менее, признала сразу как аксиому. А не приспособленный к жизни, по-детски простодушный, одержимый живописью отец обрел в маме гаранта творческого своего осуществления. В мамином лице он нашел защиту от разрушительных житейских волн, моральную поддержку, физическую помощь и душевный комфорт. Эти редкостные и такие необходимые художнику условия, в течение сорока семи лет совместной жизни, обеспечивала отцу моя мама.

Сфера живописных интересов отца широка. Он любил Волгу под Казанью, Оку, Прибалтику, Северный Кавказ, Кольский полуостров. Но во все времена года и во всех обличьях главной его страстью оставалась Москва.

Все здесь восхищало его: центр и окраины, индустриальные районы и спальные. Он умудрялся видеть особенное, острое, выразительное в любом закоулке, в любой подворотне, и писал Город не только с натуры, но и по памяти. Позволял себе роскошь свободных, вольных московских импровизаций. Из такого рода поэтических сочинений и сложилась серия работ под названием «Где-то в Москве». Отец грезил Москвой, мечтал о ней, Москва ему снилась. Есть даже пейзаж под названием: «Мне снился утренний город».

Поэзия Города мерещилась ему в бегемотистых силуэтах ТЭЦ и в жирафообразных башенных кранах, клубилась разноцветными заводскими дымами, человеческими толпами на перронах вокзалов, сутолокой московских рынков. Новостройки виделась причудливыми сталагмитами. Отцу казалось, что «силуэты машин и людей особенно выразительны зимой на фоне снега. В этой цветовой и тональной контрастности есть что-то праздничное, бодрящее». Он ценил все праздничное, бодрящее, и кажется, будто в большинстве своем работы написаны в радостном, мажорном настроении, что автор их безудержный оптимист.

И правда, отец умел смотреть на мир глазами ребенка, каждый миг видеть его заново, как бы впервые, а увиденному радоваться и изумляться. Самое удивительное, что настроение это заразительно! Художника уже нет, а давняя его радость, изумление, восторг никуда не делись, пережитые им прекрасные мгновения не исчезли и даже не остановились, они все еще длятся.

Когда-то, вдалеке от Москвы, с аппетитом предвкушая скорую встречу с нею и трепеща, как бы встрече этой что-нибудь не помешало, на листке из клеенчатой папки отец распланировал свое ближайшее будущее: «Если ничего не случится, сразу же, в августе, свежо обжать Садовое кольцо и другие заветные места, поймав и вспомнив намечавшиеся затеи, всколыхнув ход к московским грезам и снам: поэтичные нагромождения утренних и вечерних домов; сумеречные загадочные очарования; страшно преувеличенную лавинность машин (как стадо с огромными “бычками” — автобусами и

Семен Борисович Айзенман. Ялта. 1890-е годы

Ольга Александровна Бари. Рим. 1903

Семен Борисович Айзенман. Москва. 1950-е годы

Ольга Александровна Бари-Айзенман. Звенигород. 1953.

Фото А.Дорошевича



грузовиками, “коровами” — Чайками и Волгами, и “овечками” — Москвичами и Запорожцами, в неистовом пробеге по ущельям из домов-скал); идеализированную наивную уютность московских дворов; возведенную в замковую торжественность цитадельность домов Старого Арбата; тихую интеллигентность Кропоткинской, ул. Герцена, Воровского, домашность Остоженки...»

Отец осваивал Москву на всех уровнях, упивался «небесными представлениями», с восхода до заката разыгрывавшимися над городом, любовался Москвой сверху, с большой высоты. Рассказывал: «Много лет работаю из окон, с лестничных клеток тех домов, откуда обнаруживаю заманчивые для себя пейзажи. С годами выработалась привычка запросто “проникать” в незнакомые дома. Очень редко встречаются жильцы, проявляющие неприветливость по отношению к зашедшему в их дом художнику».

Он забирался даже на крыши высотных зданий. Но для этого требовались специальные разрешения, и приходилось их добывать. Кстати говоря, до поры до времени специальные разрешения требовались не только для работы на стратегически важных крышах высоток. Вот еще один забавный документ:

СССР МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

22 ноября 1949 г.

№ 255-23 гор.Москва

Действительно при предъявлении служебного удостоверения

РАЗРЕШЕНИЕ

на право проведения зарисовок

АЙЗЕНМАНУ Алексею Семеновичу — художнику Московского Товарищества художников разрешается производить зарисовки в городе Москве по тематике:

1. Улица Горького от Охотного ряда до площади Пушкина.
2. Площадь Кропоткина (Кропоткинские ворота).
3. Улица Кропоткина.
4. Метростроевская улица.
5. Крымская площадь.

Действительно по 1-е июня 1950 года.

Начальник отдела МГБ СССР Полковник Новик

Разлучаясь с Москвой физически, душевно отец не расставался с нею никогда. Как-то летом мы очутились в городе Бердянске. Отец наслаждался жарой, морем, но никак не мог подступить к бердянскому пейзажу. Не в силах и дня прожить без работы, а не то что полтора месяца, он тут же нашел выход, и на мольберте посреди хаты возникла зимняя Москва — Остоженка в ее устье со знакомыми силуэтами заснеженных деревьев, с виадуком, перекинутым через Крымскую площадь, с круглым вестибюлем станции метро Парк Культуры-радиальная. От холодноватого голубого картона веяло московской зимой, освежавшей душное, звенящее мухами и пованивающее рыбой бердянское лето. Шагнув в темноватую горницу из пережаренного бердянского дня, около окошка, распахнутого в белую московскую зиму, можно было отдышаться.

Эпицентр московского живописного обитания отца — Кропоткинская площадь. Большая картина, одна из последних, так и называется: «Моя любимая площадь». Между Пречистенкой и Остоженкой прошла вся его жизнь. Здесь же в Полуэктовом (в позднейшие времена Сеченовском) переулке жил Учитель — Николай Петрович Крымов, в этой же местности располагались последовательно мастерские отца, все три.

Давно уж отца моего нет на этом свете, и за время его отсутствия многое в Москве переменялось. Некоторые дома исчезли вовсе, другие обрели новый, неузнаваемый облик, изменились очертания улочно-переулочных берегов, погибли казавшиеся вечными любимые папины деревья. Те, о которых он написал когда-то: «Есть у меня в разных частях Москвы давно знакомые, любимые деревья-“личности”. Это старый тополь на Кропоткинской и другой высокий тополь на Рождественском бульваре, при спуске к Трубной площади. С детства знакомы мне тополя и ветлы в Савельевском и Зачатьевском переулках. Когда вдруг оказывается срубленным какое-то из давно знакомых деревьев, я ощущаю почти физи-

ческую боль».

Представляю, как изумили бы отца все эти перемены. Снобом он не был, и хотя многое бы его огорчило, а что-то рассмешило, свежие сюжеты и новые ракурсы непременно бы воодушевили. А сколько бумаги понадобилось бы для того, чтобы все это нарисовать! Рисовал-то он непрерывно, и с жадностью. На улице, в любом помещении, в метро рисовал набросок за наброском, боясь упустить еще одно впечатление, еще одну пейзажную или жанровую ситуацию, еще один сюжет.

Войдя в вагон метро, деловито проходил в его торец, вставал поустойчивее (ноги на ширине плеч) и раскрывал кленчатую папку. Обыкновенно граждане вели себя кротко, конфликтов с моделями не возникало. То же происходило в магазине, на почте, в ближайшей сберкассе, ставшей для отца едва ли не тренажерным залом. Ощувив внутренний зов, утром, днем, вечером, он внезапно собирался и отправлялся туда на часок порисовать, подзарядиться энергией. Отец мой, расположившийся в любом, самом неожиданном месте (иногда и на разделительной полосе, посреди проезжей части), стал привычным для местных жителей лицом. Название сборника рассказов Генриха Белля «Город привычных лиц» казалось ему исчерпывающе точным. Он жил среди привычных лиц и сам был им для своих земляков, пречистенско-остоженских аборигенов.

И еще удача на грани чуда — явившись на свет веселым, доверчивым и приветливым человеком, вопреки историческим, бытовым и человеческим проискам, отец умудрился таким и остаться — доверчивым, приветливым и веселым! Так и не стал удручающе взрослым, назидательным, угрюмым. Среди засилья угрюмых, назидательных и взрослых навек сохранил детскую восторженность, простодушную готовность к радости и удивлению. И на людей смотрел не то что сквозь розовые, но через какие-то лучезарные очки. Видел их не в кривом зеркале, а в таком, которое не только не замечает разного рода уродства, внешние и внутренние, но по ходу дела еще и исправляет их.

Казалось, будто всегда и везде его окружают одни только первоклассные, талантливые, добрые люди. Вроде бы злыдни разного калибра: завистники, злопыхатели, хамы, подлецы — большая редкость. Если живописная его работа предусматривала непременно отбор самого важного, единственно нужного из всего окружающего многообразия, то и в людях отец замечал только то, что было ему по душе. Конечно же, время от времени встречались персонажи-исключения, но только такие, которые подтверждают правила.

С уходом отца картина мира существенно переменялась. Изменился ее колорит — поскучнел, потускнел, стал холоднее и потерял прежнюю упругость. Поубавилось в пространстве разноцветных искр: импровизаций, изумленных возгласов, смешных стишков и куплетов. Видно, недостает ему (окружающему меня пространству) какого-то благотворного витамина, жизненного тонуса отца, творческого его азарта, вечного удивления, без которого не бывает, просто не может быть Художника. Похоже, отец от рождения владел той главной мудростью, на обретение которой полагается потратить целую жизнь, а обретя, не успеть ею воспользоваться. А папа этой мудростью владел изначально, и каждый божий день запросто употреблял по назначению.

Когда-то, по привычке записывать дела и наблюдения, свои и заинтересовавшие его чужие мысли, на случайном бумажном клочке он сформулировал нечто, подобное манифесту: «Неповторимость зримого мира. Никогда не утоляемая тяга к встречам с природой в ее поразительно разнообразии состояний. Беспредельное извлечение красоты из обыденности». То есть всю жизнь отец следовал совету своего учителя, Николая Петровича Крымова, считавшего, что в интересах живописного дела не следует суетиться и метаться в поисках красот, нужно просто-напросто «искать золото под ногами». Иными словами:

*Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.*

*Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Коричневая плесень на стене...
И стих уже плывет, задорен, нежен,
На радость вам и мне.*

МЫ НИКОГДА ВАС НЕ ЗАБЫВАЛИ!

С Елизаветой Наумовной Зельдович-Гальпериной я познакомилась вечером 13 января 1967 года в гостях у общего нашего чудесного друга Вити — художницы Виктории Ильиничны Гордон, на Арбате, в Спасопесковском переулке, в доме номер 3/1, на четвертом его этаже.

Елизавета Наумовна сразу же положила на меня глаз, она была не из тех, кто упускает человеческую добычу. Раскинуть сети и оболыстить было для Елизаветы минутным делом, а я не мешкала и охотно попала в дружеский невод. И отпра-вилась провожать эту, как мне тогда показалось, почти древнюю, маленькую, вроде бы даже горбатенькую старушку до недалекого ее дома. На самом-то деле старушка была не такая уж и дряхлая — всего-то шестидесяти пяти лет от роду.

Мела та самая ностальгическая московская метель, завивалась вихрями, а нам предстояло преодолеть две трети опустевшего по причине позднего времени Арбата и пересечь по диагонали Арбатскую площадь. Мы двигались медленно, наклонно (градусов примерно под сорок пять), арбатское пространство преодолевали с трудом, то и дело прятались в переулках и подворотнях от мчавшихся навстречу вихрей и поземок, но высоты духовной не теряли и продолжали вести интеллектуальную беседу.

И после того новогоднего вечера я множество раз сворачивала с Арбатской площади в Нижний Кисловский переулок, подходила к дому, расположенному наискосок от Моссельпрома, тому самому, вдоль которого переулок делает плавный поворот направо и вниз, вступала в старинный подъезд, поднималась на несколько ступенек (Елизавета жила в бельэтаже), звонила в медный звонок, входила в темноватый коридор и оказывалась в конце концов в большой трехкомнатной комнате (стена комнаты дублировала изгиб фасада и поворот переулка). В замечательной комнате, пожалуй что и не в комнате, а в особом мире. Полутьму густо мебелированного помещения наполняли множество замечательных предметов. Английские часы с бронзовым циферблатом и эмалевой небесной сферой глубокого синего цвета с золотыми звездами и светильниками, восходящими и заходящими в соответствии с временем суток. Бронзовая менора, принадлежавшая некогда дедушке-раввину. Старинный чайный стол на резной пузатой ноге с аппетитным беспорядком на толстенной круглой столешнице.

За уютным столом ежевечерне собиралась забредавшая на огонек публика. Здесь-то, под сенью узкого высокого поставца, в глубинах которого за стеклянными гранеными дверцами драгоценно мерцало нечто чудесное, разноцветное, и велись бесконечные арбатские разговоры. Те самые, которые в среде московской интеллигенции принято называть «кухонными». Но я с термином этим согласиться никак не могу, потому что на кухнях коммунальных квартир (ровесники-земляки подтвердят) рискованные разговоры не велись. Понятие «кухонные разговоры» возникло в хрущевские оттепельные времена, когда некоторые жители коммунального московского центра действительно переселились в отдельные квартиры, в пятиэтажные «хрущобы». Но друзья и знакомые нашей семьи, в подавляющем большинстве, еще долгие годы продолжали жить в коммунальных квартирах московского центра.

Главным источником света в комнате Елизаветы Наумовны была высокая лампа в виде фарфоровой китайской вазы с тонкой талией и длинной шеей, обвитой тесно прильнувшим к ней розово-зеленым фарфоровым же то ли змием, то ли драконом. Уникальная, драгоценная лампа, вся, сверху донизу, виртуозно расписанная замысловатым золотым узором. При-

смотренная и купленная в 30-е годы в комиссионном магазине, лампа происходила едва ли не из дворца в Ораниенбауме, где до самой войны вроде бы сохранялся ее двойник. Что стало с парной ораниенбаумской лампой неизвестно, но та, что попала в дом Елизаветы Наумовны, долгие годы освещала уютные «елизаветинские» вечера.

Перечислять не поддающиеся пересчету предметы и предметики, заполнявшие полки, шкафчики, углы и закоулки комнаты, можно бесконечно. Многочисленные участники комнатного ансамбля, старинные и современные, пустяковые и бесценные, все на равных участвовали в жизни комнаты, органично и естественно присутствовали в ней, что-то помнили и о чем-то напоминали.

Изящный попиптр красного дерева, принадлежавший некогда Елизаветиному мужу-скрипачу, ушедшему осенью сорок первого года в ополчение и тогда же пропавшему без вести, помнил, к примеру, о довоенных субботних вечерах, когда в комнате играл скрипичный квартет, в котором один только муж Елизаветы Наумовны не был профессионалом. Он был бухгалтером. И прекрасным музыкантом.

Отец Елизаветы Наумовны, издатель Наум Зельдович, умер в начале революции, мать в двадцатые годы уехала в Палестину вместе с семьей старшей дочери, муж, как уже было сказано, пропал без вести в сорок первом. Елизавета Наумовна осталась с обожаемой, воспитавшей ее няней Марией Федоровной Перепеловой. Няня тихо жила за ширмой, заботилась о Елизавете Наумовне, ухаживала за ней, как в детстве, варила супы и каши. В последовавшие за няниной смертью долгие годы Елизавета Наумовна уже не обедала, не завтракала и не ужинала, а только пила чай, одна или в хорошей компании. Множество раз в течение дня совершался торжественный ритуал заваривания чая. Все мы дружно считали, что чая вкуснее Елизаветино не бывает.

Елизавета Наумовна была бескорыстным ловцом душ и коллекционером друзей, разборчивым и на редкость талантливым. Ей удавалось сохранять дружбы, образовавшиеся в детстве и юности, в давно прошедшие эпохи, она берегла их, лелеяла, давала новые импульсы. Дружбы разветвлялись, в ряды друзей вливались новые персонажи, принадлежавшие уже следующим поколениям. Она одновременно и равноправно дружила с бабушкой — своей гимназической подругой, дочерью подруги и ее юной внучкой. Среди ее друзей были давно повзрослевшие, немолодые уже школьники, которых Елизавета Наумовна в военные и послевоенные годы учила рисованию.

Друзья жили своими жизнями, временами по разным причинам подолгу отсутствовали, переживали катаклизмы собственных судеб, а спустя годы вновь рассаживались за круглым столом под китайским фарфоровым драконом и с ходу включались в застольную беседу. Собравшись вместе, совершенно разные люди, иногда увидевшие друг друга впервые, с первой же чашки чая превращались в гармоничную компанию, мгновенно проникались взаимным расположением и доверием и принимались рассказывать друг другу что-нибудь занимательное, нередко, как теперь говорят, сугубо эксклюзивное.

То есть само по себе право бывать у Елизаветы Наумовны служило рекомендацией, гарантией порядочности, знаком качества. Похоже, что в большинстве случаев так оно и было. В гостях у Елизаветы Наумовны все чувствовал себя интересными людьми, расходились не просто с ощущением содержательного вечера, но и чрезвычайно довольные своей в нем ролью. Устроенные саркастически, мы любили подшучивать над чайными застольями, над светскими повадками Елизаветы Наумовны — прирожденной хозяйки салона. Но все без



Лиза Зельдович со старшей сестрой.
1907

исключения дорожили возможностью приходить запросто в этот первостатейный московский дом.

Елизавета любила сводить людей друг с другом и щедро делилась знакомствами и друзьями. С разными и неожиданными людьми познакомилась я благодаря Елизаветиной общительности, всех не перечислить. Удивительным было знакомство с художницей-анималисткой Верой Амелунг, давней приятельницей Елизаветы Наумовны.

Случилось так, что заболел маленький мальчик, сын Витиной и Елизаветиной подруги. Болезнь развивалась стремительно, прогнозы делались зловещие. И однажды пасмурным, почти уже зимним, днем, нас с Витей Гордон делегировали на Гоголевский бульвар, в большой доходный дом, расположенный в самом его устье.

Вера Амелунг — сухощавая, стриженная, серо-седая, очень уже пожилая дама, жила в подвале этого огромного многоэтажного дома. Обладая множеством разнообразных умений, она еще и на картах прекрасно гадала. Кстати говоря, все, что было ею сказано в тот раз о мальчике и его болезни, впоследствии осуществилось в точности. Мальчик выздоровел, вырос, окончил университет, стал чудесным человеком, но прожил на свете недолго — совсем еще молодым скоропостижно скончался от сердечной болезни.

Блуждая подвальными лабиринтами в поисках Вериной каморки, мы стучались последовательно во все встречавшиеся по ходу нашего странствования двери. Не получая ниоткуда ни отзвука, ни приглашения, мы решительно толкались в очередную дверь, и почти каждая оказывалась незапертой и отворялась беспрепятственно. Навеки запечатлелись в сознании две открывшиеся нашим взорам картины. Первый сюжет — огромная, затейливо татуированная спящая спина на фоне нарядного, во всю стену, ковра, затканного замысловатыми узорами, чем-то спине этой родственными. И второй — минимально меблированное помещение, простейший квадратный стол посередине (кажется, что и без клеенки), топорный стул, на стуле в состоянии глубокой задумчивости босой мужик в трусах, устремивший остановившийся взор на полупустую трехлитровую банку с чайным грибом. Неплохо жилось Вериним соседям: тепло — раздетым среди зимы, и доверчиво — дверей-то не запирали.

Итак, мы пришли к Вере, заранее заручившись ее согласием раскинуть карты. Даром своим Вера не злоупотребляла, использовала его редко, в случае крайней необходимости. Само по себе посещение гадалки, да не какой-нибудь бабки, а аристократки древнего рода с фамилией совершенно необыкновенной, было предприятием загадочным и замечательным. Настроены мы были серьезно и торжественно. Не уверена, но кажется, что огромный дом на Гоголевском бульваре до октябрьского переворота принадлежал Вериной семье, все Верины родные, конечно же, исчезли без следа, а сама Вера жила, как уже было сказано, в подвале собственного дома, где же еще? Но жила не в одиночестве, а вместе с русскими борзыми удивительной красоты. В те дни, когда мы с Витей пришли к Вере, с нею жили мать и сын, Аргунь и Терзай, и были они потомками других, давних борзых, живших в Вериной семье, а позже с одной только Верой, с незапамятных времен. Родословную Аргуни и Терзая Вера знала до мелочей, потому что вырастила и бабок их, и дедов, и прадедов.

В темной пустоватой подвальной комнате, под амбирными часами, украшенными одинокой белой колонкой, в маленьком полукруглом креслице, компактно свернувшись, дремала розовато-белая Аргунь. В кресле она казалась маленькой, изящ-

ной, пластикой своей и шелковистостью более всего походила на белую лебедь. Но только до тех пор, пока не соскочила с кресла, не расправилась во весь рост, не продемонстрировала всю свою стать. Терзай же, сын Аргуни, был раза в полтора крупнее матери.

Борзые верно служили Вере. Более того, они ее кормили. Режиссер Бондарчук снимал их в фильме «Война и мир» в сцене охоты Наташи Ростовской. Вера сопровождала собак на съемки, получала суточные, которых с лихвой хватало на прокорм всем троим. А когда съемки закончились, Бондарчук, полюболюбивший собачек, продолжал их подкармливать. Снимались Аргунь с Терзаем и в фильме «Анна Каренина». Все мы видели, как Майя Плисецкая, сама похожая на лебедь, выгибая изумительный свой стан, прогуливалась с Вериными борзыми по съемочной площадке.



Е.Н.Зельдович-Гальперина с няней М.Ф.Перепеловой. Москва. 1930-е годы

Дверь в полуподвальное Верино жилище то и дело открывалась без стука. Запросто обращаясь на «ты», соседи разных возрастов и обличий о чем-то спрашивали, что-то сообщали, просто заглядывали и обещали зайти попозже. А однажды в проеме возникла фигура страшноватого гиганта (может что и проснувшегося владельца татуированной спины), силно сообщившего: «Вер, мы с Витькой бочонок капусты тебе заквасили и ближе к вечеру прикантуем». Вера выслушала сообщение благосклонно и объяснила, что все дети, выросшие на ее глазах в течение тех десятилетий, что прожила она в арбатском дворе, с нею дружат, а когда вырастают, то помогают, чем могут. И главное украшение комнаты, амбирные часы с изящной белой колонкой, с помойки притащили тоже они.

Конечно же, я предложила вывести собак на прогулку. Вера, скептически усмехнувшись, позволила прогулять изящную Аргунь. Прогулка потребовала от меня максимальных физических усилий. От ужаса мне показалось, что мощь и напор Аргуни равны нескольким лошадиным силам.

Только однажды пришлось мне побывать в Верином доме. Но несколько раз я видела, как Аргунь и Терзай

стремительно влекли легконогую Веру то по заиндевавшему, то по весенне-тополиному Гоголевскому бульвару. Тонкая женщина с резким профилем, в берете, влекомая парой белорозовых борзых, напоминала античного героя, несущегося на крылатой колеснице.

Через несколько лет после нашего к ней визита Веру выселили с Гоголевского бульвара в новый микрорайон Чертаново, улучшили ее жилищные условия. Постаревшая, больная, разлученная с друзьями и соседями, содержать собак она уже не могла. Аргунь и Терзая передала в чьи-то надежные руки, а сама она очень скоро умерла в своей однокомнатной квартире.

От Веры Амелунг возвращаюсь к Елизавете Наумовне, удивлявшей друзей силой духа и повседневным мужеством. Не перечесть больниц, в которые попадала она с сердечными и всякими иными приступами. Обыкновенно в больницу ее увозили ночью, в карете «скорой помощи», в самом критическом состоянии. Наутро, узнав от соседки о случившемся, Витя Гордон оповещала публику, и к вечеру у справочной очередной больницы, где бы она ни находилась, выстраивалась небольшая очередь друзей. Являлись не с пустыми руками, а с непременным больничным набором, включавшим в себя шоколадку, вилку и пачку рублевых бумажек.

Шоколадка под подушкой (с легкой руки отца ее, умершего в начале революции, но успевшего пристрастить любимую дочь к сладкой жизни) была предметом первой необходимости и требовалась Елизавете Наумовне для круглосуточного поддер-

жания тонуса и бодрости духа. Вилка — для сохранения человеческого достоинства (Елизавета Наумовна не могла есть котлету ложкой). Рубли — для налаживания добрых отношений с младшим медицинским персоналом. Система работала без сбоев. Вот только иногда у Елизаветы Наумовны скапливалось слишком много вилок. Шоколадки и рубли лишними не бывали.

И тщеславие не было чуждо Елизавете Наумовне. Она обожала парады друзей, проходившие через очередную больничную палату. Наши посещения нередко превращались в шоу, парад-алле, устраиваемые Елизаветой Наумовной перед случайными соседями-зрителями. Критическое состояние, в котором она обыкновенно попадала в больницу, ничего не меняло. Ну а мы исправно исполняли назначенные роли, Елизавету Наумовну не подводили и едва успевали сменять друг друга.

В любом состоянии, как бы плоха она ни была, Елизавета умудрялась выглядеть персонажем Екатерининской эпохи. Воздушная седина способствовала успеху этого фокуса. Взбитые белоснежные волосы и абсолютная бледность в сочетании с подкрашенными губами и подведенными глазами ассоциировались с пудренными париками и мушками. Удивительно, но сгорбленная, с давно и безнадежно деформированным позвоночником, Елизавета казалась грациозной дамой с образцовой осанкой. Никаких тапочек, только высокие каблуки. И даже тогда, когда уже сломана была шейка бедра, Елизавета Наумовна просила меня присмотреть ей новые туфли на каблуках, но только не на таких высоких, как обычно. Учитывая туфельный дефицит, согласна была и на красные.

Когда пришла пора и Елизавете Наумовне покидать Арбат, многочисленные друзья пришли на помощь, явились упаковывать вещи. Полумертвая Елизавета, обессилено распростертая на диване, руководила нашими действиями, распределяла участки работы. Мы разбирали и увязывали стопки предметов, похожие то ли на геологические напластования, то ли на сталагмиты. Высокие эти терриконы давно уже стали подобием мебели, красиво закутанной в изредка обновляемые платки и шали с любимыми Елизаветинными розами. По мере разборки и упаковывания терриконы эти открывали нашим взорам срезы минувших эпох. Мы ощущали себя археологами, а комнату Елизаветы Наумовны — Геркуланумом.

Если сверху лежали приглашения на недавние вернисажи и от носительно свежие поздравительные открытки не более чем десятилетней давности, то по мере продвижения вглубь попадались свидетельства более отдаленных эпох. Нашлись наконец-то продуктовые карточки, потеря которых в 43-м году едва не стоила жизни Елизавете Наумовне и ее нежно любимой няне, Москвы во время войны не покидавшим. Еще глубже обнаружилось приглашение на выборы в Верховный Совет СССР, состоявшиеся 12 декабря 1937 года. Няню, Марию Федоровну Перепелову, приглашали «притти на выборы и отдать свой голос за лучшую стахановку Метростроя, летчицу, парашютистку, активную комсомолку тов. Федорову Т.В.», а также «голосовать за кандидатуру стойкого большевика — Председателя Совнаркома РСФСР товарища Булганина Н.А.».

В самом низу стопки, на полу, отчасти к нему прилипнув, лежала абонентская книжка Московской телефонной сети, датированная каким-то из 900-х годов двадцатого века (увы, не помню, каким именно). Отец Елизаветы Наумовны, издатель Наум Зельдович, был одним из первых абонентов Московской телефонной сети.

Казалось, что в момент обнаружения документа Елизавета Наумовна находилась в почти бессознательном состоянии — с глазами, подернутыми пленкой, лежала без сил на диване. Однако на мое сообщение о забавной находке среагировала живо,

очнувшись и тут же спрятала раритет в ридикюль. И спустя полгода, после очередного ее «возрождения из пепла» (то есть возвращения из больницы), не без труда погрузившись в такси, мы с Елизаветой Наумовной отправились на прием к начальнику Кугузовского телефонного узла и подарили ему редкий документ. Тронутый подарком начальник не остался в долгу и распорядился немедленно, вне всякой очереди, установить телефон в новой Елизаветинной квартире. Несомненно, что Елизавета Наумовна была находчива, в меру предприимчива и умела общаться с самыми разными людьми.

Эпопея с выселением из арбатского дома была длительной, болезненной и в очередной раз продемонстрировала незаурядную коммуникативность Елизаветы Наумовны, а также силу ее духа. Состояние здоровья иллюзий не оставляло. Казалось, что этого потрясения она не перенесет. Так же подумали и те, от кого зависело качество, а главное — местоположение новой квартиры. Начальственная дама, с которой почти умирающая Елизавета вступила в проникновенную телефонную связь, проявила немислимое благородство и распорядилась не выбрасывать старушку-художницу на окраину, а дать ей двухкомнатную квартиру на Кугузовском проспекте, визави с домом Брежнева. Исполкомовская вершительница судеб ощутила себя благодетельницей, ни минуты не сомневаясь в том, что в самое ближайшее время отменная квартира вновь поступит в ее распоряжение.

Не тут-то было! Хотя в тот день, когда ее имущество поехало на новую квартиру, сама Елизавета Наумовна в критическом состоянии, на «скорой», доставлена была в больницу и помещена в реанимацию. Из последних сил, лежа, руководила она сборами и окончательно рухнула только в день переезда. Проллежала в больнице полгода. Мне поручила контакты с домоуправлением и внесение квартплаты. Полгода я выслушивала сетования по поводу того, что квартиры раздадут не нормальным людям, а помиравшим дохлякам, в результате чего жилплощадь понапрасну простаивает и дряхлеет.

Переезд произошел в начале сентября, а ближе к весне Елизавета Наумовна вышла из больницы и наконец-то прибыла в новую свою квартиру. Конечно, второго арбатского салона не получилось. Не было больше круглого стола, мало осталось сил. Чай пили на узенькой кухне, за маленьким раскладным столиком. Но друзья, все те же, приходили в гости регулярно. Вот только теперь Елизавета Наумовна предпочитала, чтобы приходили по очереди, а не скапливались толпами. Она растягивала удовольствие общения, смаковала его.

Круглого стола не было потому, что, предчувствуя неизбежный переезд, Елизавета Наумовна заранее распорядилась чудными своими вещами. Стол, поставец, часы, попитр и многое другое задумала продать в Тарханы, имение Лермонтова. На несравненно более выгодные предложения охотников за антиквариатом отвечала отказом. Не без тщеславия представляла себе, как сроднившиеся с нею предметы окажутся в экспозиции музея. Подсчитала, что до конца жизни ей хватит трех тысяч, которые посулил заплатить представитель музея за целую кучу бесценных вещей.



Е.Н.Зельдович-Гальперина. Москва. 1920-е годы



Уголок комнаты
Е.Н.Зельдович-Гальпериной.
Нижний Кисловский переулок.
Москва. 1970-е годы.
Фото Е.Вельчинского

Подсчитала, но, к счастью ли, к сожалению ли, ошиблась. Деньги эти Елизавета истратила задолго до своего конца. Хорошо еще, что оставались кое-какие мелочи, интересовавшие антикваров. Жаль только, что до Тархан, по свидетельству людей, там бывавших, замечательные Елизаветины вещи не добрались и экспозицию музея не украсили. Очевидно, осели по дороге у знатоков и ценителей.

Отдавая вещи в Тарханы, Елизавета Наумовна решила и друзей своих, не откладывая «на потом», во избежание недоразумений, одарить при жизни. Кому-то достались бронзовые подсвечники, кому-то оловянное блюдо с рельефами, кто-то получил старинный географический атлас. То есть «всем сестрам досталось по серьгам». А чудную библиотеку Елизавета завещала одному из друзей своих, молодому историку Виталию.

Сначала почти, а потом и окончательно ослепшая, с переломом шейки бедра и пышным букетом разнообразнейших болезней, на заключительном этапе уже не вставая с постели, Елизавета Наумовна прожила в новой квартире более девяти лет. До самого конца ее не оставили ни друзья, ни присутствие духа. А в наших домах живут вещицы, подаренные ею не случайно, а обдуманно. Мне, например, Елизавета подарила нитку темно-красных янтарных бус, подарила потому, что у остальных подруг были сыновья, а у меня дочь, и у бус, таким образом, перспектива. Янтарные бусы эти не просто красивы, но имеют еще и свою историю.

В середине 20-х годов (в эпоху нэпа) муж Елизаветы Наумовны отправился по профессиональным своим делам в буржуазную Литву. Жена заказала ему янтарные бусы, остро необходимые в качестве дополнения к вышитой в украинском стиле батистовой блузке изумительно тонкой работы. Вкус и требовательность капризной Елизаветы Наумовны муж хорошо знал и, пересмотрев множество янтарных бус, единственно нужных ни в Вильнюсе, ни в Каунасе не обнаружил. То есть заказанного аленького цветочка не добыл.

Вернувшись в Москву и сойдя с трамвая, шедшего от площади Белорусско-Балтийского вокзала до Арбатской площади, он подходил уже к дому, как вдруг увидел на углу старика перса в длинном халате и чалме. На коричневой худой руке перса висела длинная нитка бус из крупного янтаря апельсинного цвета. То есть те самые бусы, которые муж тщетно искал в Литве. С годами с бусами произошла метаморфоза. По неизвестной причине из апельсинных они сделались темно-красными, почти вишневыми, и в таком качестве продолжают существовать в нашем доме.

Елизавета Наумовна страстно любила кошек (а особенно их изображения) и розы (в любом виде). В те годы в любой московской галантереи продавались штапельные платки с розами на белом или черном фоне (действительно, очень красивые), в изобилии выпускавшиеся текстильной промышленностью и стоившие недорого — рубль тридцать или два пятьдесят, в зависимости от размера.

Штапельный платок с розами — лучший подарок Елизавете по любому поводу или вовсе без повода. Очередной платок набрасывался на очередную стопку предметов, на ширму, на спинку кресла и органично вписывался в интерьер, выстроенный хозяйкой комнаты наподобие театральных декораций. Что не удивительно, потому что в середине 20-х Елизавета Наумовна училась в лаборатории-мастерской материальной культуры при Театре Революции по специальности «художник театра», а в 30-м году макет ее постановки спектакля «Балаган» для Клуба железнодорожников им. Горбунова даже экспонировался на выставке Профинтерна в Париже.

С 1919 же по 1924 год Елизавета Наумовна училась во Вхутемасе у Александра Шевченко и Любви Поповой, почитала учителей своих и часто вспоминала. Рисовала же до тех пор, пока не ослепла окончательно. Рисовала шариковой ручкой или цветными мелками что-то пасторальное: романтические замки, старые деревья, натюрморты с участием роз, фарфора, старинных часов и кошек, расписывала кухонные доски. Милые рисунки, славные изделия, трогательные, теплые, очень камерные.

И после смерти Елизаветы Наумовны, когда пришла пора освобождать квартиру, картонный короб с этими рисунками, художественной ценности не имевшими, с семейными фотографиями и разным бумажным сором выставлен был на лестничную площадку. Соседка по дому обнаружила сиротливый короб, позвонила Вите, Витя — нам, муж мой Женя тут же поехал на Кутузовский проспект, успел вовремя (дворники еще не вынесли короб с хламом на помойку) и привез рисунки и фотографии к нам домой. У нас они и хранятся.

И вдруг, через двадцать лет после смерти Елизаветы Наумовны, имя ее возникло почти из небытия и зазвучало по-новому. Позвонила общая наша подруга художница Рахиль Самолубова и рассказала, что знакомый коллекционер, житель города Венеции и собиратель русского авангарда, приобрел работу Зельдович-Гальпериной вхутемасовского супрематического периода, имя это услышал впервые, пребывает в большом восторге от своего открытия, покупку считает удачей, чрезвычайно заинтригован и мечтает узнать хоть что-нибудь об этой замечательной художнице.

Я бросилась составлять биографическую справку и сопроводила ее чудной фотографией Елизаветы того самого вхутемасовского периода. Фотографию эту (из той же картонной коробки, оставленной на лестничной площадке)



Е. Н. Зельдович.
Композиция. Задание Л. С. Поповой
на Основном отделении
Вхутемаса. 1921

Женя по просьбе Елизаветы Наумовны когда-то отреставрировал. Наклеил ошметки покоробившейся от времени фотографии на черный картон, переснял, сделал несколько отпечатков.

Теперь оригинал стоит за стеклом книжного шкафа вместе с фотографиями наших бабушек, дедушек и ушедших друзей. На фотографии непривычно черноволосая (мы-то помним ее в серебряном ореоле) молодая Елизавета в обнимку с белым шпием (отнюдь не с кошкой или котом) полулежит на диване, смотрит в объектив загадочно-интригующим взглядом женщины, знающей цену своему обаянию. Несомненно, что фотографию делал кто-то из Елизаветинных поклонников — поза ее и взгляд неопровержимо свидетельствуют об этом.

Неожиданное возникновение Елизаветы Наумовны в современном художественном контексте стало для нас (нескольких помнящих и по-прежнему любящих ее друзей) большой радостью. Вроде бы давно ушедший друг воскрес чудесным образом и снова присутствует в нашей жизни. Тем более что явлением венецианского коллекционера чудо Елизаветиново воскрешения не ограничилось. Прошло несколько месяцев, и в свет вышла толстенная книга — фундаментальный труд, посвященный художникам, работавшим во временном промежутке между 1925 и 1935 годами. У книги щемящее название: «Неужели кто-то вспомнил, что мы действительно были...» Автор книги Ольга Осиповна Ройтенберг, профессиональный музыкант, искусствовед, непрезойденный знаток кино, давняя знакомая нашей семьи, друг тетюшки моей Татьяны Семеновны Айзенман (Семеновы).

К моменту выхода книги в свет Оли Ройтенберг не было на свете почти четыре года. Но на создание ее она потратила половину жизни. Большой человек, инвалид детства, с трудом передвигающаяся Ольга Осиповна десятки лет совершала ежедневные под-



Уголок комнаты Е.Н.Зельдович-Гальпериной.
Нижний Кисловский переулок. Москва. 1970-е годы.
Фото Е.Вельчинского

виги. Обладая сверхъестественным чутьем, смелостью, предприимчивостью на грани авантюризма, попадая в опаснейшие, времена почти криминальные передраги, она умудрилась разыскать работы множества художников, канувших бесследно, погибших, не продравшихся сквозь дебри трагической эпохи.

С клюкою своей Ольга Осиповна являлась в дряхлый домишко, в какую-нибудь забубенную коммунальную квартиру, где некогда, по слухам или в соответствии со старой адресной книжкой, вроде бы жил некий художник. Работ этого художника Ольга Осиповна никогда не видела, судьбу представляла смутно, но, судя по всему, ее вели волшебные силы. Абсолютно чужие художнику и чуждые искусству люди открывали двери своих квартир и домишек под напором Олиного немереного обаяния и настойчивости.



О.О.Ройтенберг.
Москва.
1970-е годы

Более того, Оля умудрялась вскарабкиваться на антресоли и чердаки, рыскала в дровяных сараях и чуланах. Находила и спасала картины, о существовании которых и не подозревали нынешние жители домишек и коммуналок. Был даже мистический эпизод, настоящее чудо, когда она подоспела точно к тому моменту, когда десятки лет хранившиеся за шкафом и захламывавшие коммунальное пространство рулоны решили наконец сжечь. Запалили костер, аутодафе началось, и в этот момент явилась Оля. В тот раз большую часть работ, обреченных на сожжение, удалось спасти. Короче говоря, Ольга Осиповна Ройтенберг выполнила возложенную на нее Кемто миссию — возродила к жизни и вернула истории искусства десятки имен.

Раскрыв книгу, изданную Олиными друзьями, я принялась ее перелистывать, и вдруг открылся передо мной разворот с двумя большими репродукциями прекрасных работ Елизаветы Наумовны, к счастью, оказавшихся некогда в Олиных руках. Боже, как счастлива была бы Елизавета, на каком очутилась

бы седьмом небе, узнай она об этой книге и о венецианском коллекционере!

А при жизни Елизавету Наумовну, художника, оценил Игорь Витальевич Савицкий. Было это в самом начале 70-х. Московский художник, некогда репрессированный, отбывший срок, после лагеря оказался в ссылке в далеком Нукусе, столице Каракалпакии. И после реабилитации не возвратился в Москву. Директор художественного музея в Нукусе, Савицкий создал грандиозное собрание живописи и графики. Уникальное, сравнимое разве что с собранием Третьяковки, а может — в чем-то его и превосходящее. Своего рода феномен эпохи.

В те годы Савицкий регулярно приезжал в Москву (летом из-за болезни он не мог существовать в узбекском климате и проводил несколько месяцев в Москве), ходил по домам уцелевших художников, а по большей части их наследников, что-то покупал за небольшие деньги, те, которые Министерство культуры Каракалпакии могло ему выделить. Хотя и художники, и их наследники счастливы были отдать работы бесплатно.

И Оля Ройтенберг, и Игорь Савицкий, истинные герои, подвижники, знатоки и ценители искусства, спасли от забвения множество имен. Думаю, что работы открытых ими художников далеко не все дожили бы до сегодняшних галерей. Просто физически погибли бы. Это сейчас они стоят дорого, сегодня востребованы и музеями, и частными коллекционерами, продаются на престижных аукционах. А в те годы никого они не интересовали, окружены были в лучшем случае равнодушием, а то и пренебрежением.

Побывал Савицкий и у Елизаветы Наумовны. Мы, друзья Елизаветины, конечно же, порадовались за нее, но никто из нас не потрудился вникнуть в сюжет, поинтересоваться, а что именно отдала Елизавета в Нукус. Знаем только, что вскоре получила она перевод на двести рублей и благодарственную бумагу. Деньги по тем временам немалые, и мы оценили благородство Савицкого, который мог бы и не платить ничего, Елизавета и так была счастлива вниманием к своему творчеству. Надо думать, ушли в Нукус и работы вхутемасовского периода, вроде той, что приобрел венецианский коллекционер, ощущающий себя счастливым открывателем нового имени.

Елизавета Наумовна умерла в самом конце декабря 1984 года, восьмидесяти двух лет от роду, одна, в больничном коридоре. Когда-то в Комбинате графического искусства, где много лет работала Елизавета, принято было прощаться со скончавшимся художником торжественно, со сменявшимся каждые пять минут почетным караулом братьев-художников, в помещении мастерской — на улице Немировича-Данченко.

Обычай этот нравился Елизавете Наумовне, и ей тоже хотелось такого прощания. Своим замыслом она не раз делилась с окружающими, живо представляя себе неотвратимую скорбно-торжественную процедуру. Увы, к 84-му году традиция прощания с художниками в помещении мастерской угаšla — коллектив постарел, смерти участились, люди зачерствели. Прощались с Елизаветой Наумовной в крематории, поминки справляли в ее опустевшей квартире. Прибыл из Питера племянник-моряк, унаследовавший по завещанию драгоценную лампу-вазу, пришли друзья. А я в это время лежала с высокой температурой и Елизавету Наумовну не провожала.

Слава Богу, есть еще кому порадоваться за Елизавету. Пусть даже успех ее, как это всегда случается с истинными художниками, традиционно посмертный. Кроме нашей семьи и Рахили Самолюбовой с сыном, художником Петром Перевезенцевым, живы еще люди, любившие Елизавету Наумовну и хранящие память о ней.



Е.Н.Зельдович.
Эскиз костюма
для агит-спектакля
«Балаган» в Клубе
железнодорожников
им. Горбунова. 1929